

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ПОЭТЫ
ПЕТРАШЕВЦЫ




Q

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), В. Г. Базанов,
Б. И. Бурсов, Б. Ф. Егоров (зам. главного редактора),
В. М. Жирмунский, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский*



советский
писатель

ПОЭТЫ-ПЕТРАШЕВЦЫ

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
В. В. Жданова*

москва—ленинград

1 9 6 6

В настоящем сборнике представлены избранные произведения поэтов — участников революционного кружка М. В. Петрашевского. В условиях крепостной России 1840-х годов петрашевцы, выступившие с пропагандой социалистических идеалов, призывали к борьбе с крепостничеством и самодержавием. Они внесли свой вклад и в развитие русской поэзии. В книгу, кроме лучших образцов оригинального творчества поэтов-петрашевцев, включены также их переводы из О. Барбье, В. Гюго, П.-Ж. Беранже.

ПОЭТЫ КРУЖКА ПЕТРАШЕВЦЕВ

I

Кружок петрашевцев — одно из наиболее ярких явлений в истории русского освободительного движения — оставил заметный след и в общественной мысли, и в художественной литературе, прежде всего в поэзии. В условиях крепостной России, где были попораны элементарные права человеческой личности, петрашевцы заговорили о равенстве людей, о раскрепощении женщины, о человеческом достоинстве, о свободной литературе, о счастливом будущем для всех народов.

По размаху своей деятельности, по количеству участников, по сознательности политических стремлений кружок петрашевцев не имел ничего равного себе в России того времени. Первые русские социалисты главной своей задачей ставили пропаганду в обществе социалистических воззрений. Участников кружка, особенно его левой группировки, объединяла горячая ненависть к крепостному праву и его оплоту — самодержавию, вера в грядущее счастье человечества.

В распространении идей равенства и справедливости они видели средство, приближающее гибель ненавистного государственного порядка. Петрашевы хорошо понимали всю сложность своего положения, но быть «представителями социализма» в России они считали своим историческим призванием, возложенным на них «духом века».

Главный организатор кружка М. В. Петрашевский в черновых набросках речи на обеде в честь Фурье писал: «Социализм и Россия — вот две крайности, вот два понятия, которые друг на друга волком воют... и согласить эти две крайности должно быть нашей задачей».

Людам «непосвященным» собрания кружка Петрашевского казались явлением необыкновенным и неожиданным в условиях русской жизни того времени. Так, молодой композитор Антон Рубинштейн, только что вернувшийся из-за границы и попавший на собрание кружка, был очень удивлен, услышав чтение «коммунистического трактата» и либеральные разговоры о конституциях и парламентах. Сидя в гостях у Петрашевского, Рубинштейн, по его собственным словам, «не скрыл своего удивления от соседей» и заявил им: «Вот не ожидал встретить что-либо подобное здесь, в России! Я понимаю, что такие чтения и такие мысли и принципы высказываются за границей, там есть для этого почва, условия быта и строй общественный совершенно другие; но у нас, в России, всем этим принципам не может быть места!» Действительно, строй и учреждения старой феодальной России очень мало соответ-

ствовали тем социалистическим идеалам, которые все шире распространялись среди молодежи. И тем более велика была заслуга петрашевцев, сумевших завоевать симпатии довольно широких кругов демократической интеллигенции.

Уже в предшествующие десятилетия в России начали возникать литературно-философские кружки, свидетельствовавшие об оживлении интеллектуальной жизни в стране; немалую роль в идейном развитии этих кружков играла немецкая классическая философия. Однако их стремления по большей части не выходили за пределы отвлеченно-эстетических и литературных вопросов. В 1840-х годах характер подобных кружков резко меняется в связи с общим оживлением политической жизни, пробуждением общественных интересов и оппозиционных настроений в крепостной России. Этот процесс совпал с подъемом революционного движения на Западе. Широкое распространение идей утопического социализма, назревание европейских революций 1848 года оказали прямое влияние на развитие прогрессивных настроений среди русской интеллигенции.

Деятельность кружка петрашевцев, возникшего в середине 1840-х годов, была одним из ярких свидетельств общественного подъема, роста демократической мысли того времени. Усвоив в известной мере идеи и традиции движения декабристов, мечтавших добиться благоденствия России через свержение самодержавия, петрашевцы представляли собой более демократическое течение по сравнению с декабристами, которые, по

словам В. И. Ленина, были «страшно далеки» от народа.¹

В годы деятельности кружка еще была свежа память о революционном движении 1820-х годов. По рукам ходили запретные стихи, обличавшие царя. Были живы сосланные декабристы, участники кружка расспрашивали о их судьбе людей, приехавших из Сибири. В кружке, надо думать, не раз возникали разговоры о восстании 1825 года и о причинах его неудачи. Сам Петрашевский в какой-то мере признавал себя продолжателем дела декабристов.

Пропагандистский кружок 40-х годов с его социально-утопической программой, при всем своем отличии от программы и тактики военного заговора декабристов, представляя собою дальнейшее развитие революционной традиции, усвоил и некоторые элементы декабристской программы. Выстрелы на Сенатской площади разбудили целое революционное поколение. Петрашевцы, наряду с Герценом и Огаревым, принадлежали к этому поколению.

Сохранился отзыв Петрашевского о деле декабристов, из которого видно, что причиной неудачи восстания 1825 года он считал недостаточную организованность и слабую подготовку выступления. «Заговор 14-го декабря, — говорил Петрашевский, — не мог никаким образом иметь успеха потому, что главная его цель была из-

¹ В. И. Ленин. Памяти Герцена. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

вестна только очень малому числу действующих лиц, между тем как другие действовали наобум...». В соответствии с этим Петрашевский, учитывая опыт декабристов, ставил своей задачей длительную пропаганду в массах, расширение круга участников противоположительственного движения.

Среди тех идеологических влияний, которые шли от декабристов, играла свою роль и революционная поэзия 20—30-х годов. Она несомненно пользовалась успехом среди петрашевцев. В числе преступлений литератора В. П. Катенева, «вызывавшегося на цареубийство», на следствии фигурировал и тот факт, что он несколько раз отзывался дерзновенно о «священной особе государя императора» и произносил слова, «что на месте этого фонаря желал бы видеть повешенного нашего царя». Очевидно, Катенев цитировал популярное в свое время, ходившее по рукам стихотворение «Фонарь», которое приписывалось Пушкину и Полежаеву:

Друзья! Не лучше ли на место фонаря,
Который темен, тускл, чуть светит в непогоды,
Повесить нам царя?
Тогда бы стал светить луч пламенной свободы!

Эти смелые стихи, как видно, пользовались широкой известностью и в 40-е годы.

Ненависть к деспотизму заставляла петрашевцев с уважением вспоминать о героической попытке декабристов свергнуть самодержавие.

В кружке не раз возникала мысль о насильственной ликвидации «богдыхана», то есть о цареубийстве. Следственное дело петрашевцев пестрит неучтивыми выражениями и дерзкими выходками по адресу «священной особы» императора. Сохранился рассказ Петрашевского о том, как «несколько раз, встречая высочайшую особу, он нарочно не отдавал ей почтения, говоря, что в случае неприятности у него уже заранее была приготовлена отговорка, что он очень близорук, и совет, чтобы государь император носил на голове какие-нибудь погремушки, которые издали давали бы о нем знать...».

В своей переписке Петрашевский не стеснялся осуждать Николая I, прибегая для этого лишь к довольно прозрачной зашифровке ненавистного имени. Так, в письме к П. А. Кузьмину, написанном в ноябре 1848 года, то есть в период революционных событий в Западной Европе, когда Николай I оказал военную помощь реакционным силам в борьбе с восставшими, Петрашевский писал: «В ответ на Ваше желание сообщить новости, скажу, что Карла Ивановича здоровье, говорят, поправилось вследствие удачи его оборотов с Европою, но эти успехи временные, и кредит к его лицу и конторе падает все более и более».

Пристальное внимание петрашевцев к движению декабристов подтверждает любопытный документ, сохранившийся в бумагах участника кружка Н. А. Момбелли. Это прозаический перевод «Посвящения» Адама Мицкевича своим рус-

ским друзьям из его поэмы «Дорога в Россию». Это «Посвящение», неоднократно переведившееся русскими поэтами, проникнуто пламенной любовью к руководителям восстания 1825 года, казнь которых глубоко потрясла Мицкевича.

Ясно, что отрывок из поэмы о декабристах отвечал настроениям Момбелли, принадлежавшего к радикальной части кружка. Именно здесь вызревала мысль о создании подпольной организации, которая должна была приступить к подготовке противоправительственного выступления. Именно Момбелли предложил свой проект боевого тайного общества, обсуждавшийся на квартире у петрашевца Н. А. Спешнева, горячо поддержавшего мысль об организации такого общества. На одном из собраний обособившегося дуровского кружка, члены которого бывали и на собраниях у Петрашевского, Момбелли предлагал писать статьи, направленные против правительства, и распространять их с помощью домашней типографии.

Революционная идеология декабристов находила самый живой отклик у петрашевцев, питала их ненависть к самодержавию и деспотизму. Но в своем сочувствии к угнетенному народу петрашевцы шли гораздо дальше декабристов. Показателен в этом смысле дневник Момбелли, сохранившийся в следственном деле. В этом дневнике есть такие рассуждения: «Что мы видим в России? Десятки миллионов страдают, тяготеют жизнью, лишены прав человеческих — или ради плебейского происхождения, или ради ничтожно-

сти общественного положения своего, или по недостатку средств существования; зато в то же время небольшая каста привилегированных счастливых, нахально смеясь над бедствиями ближних, изощряется в изобретении роскошных проявлений личного тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью».

Исторические особенности идеологии петрашевцев определялись тем, что положения утопического социализма сочетались в ней с ярко выраженными антикрепостническими взглядами. Их мировоззрение формировалось в условиях отсталой крепостной России, в обстановке обострения борьбы крестьян против помещиков и общего нарастания недовольства народных масс. С этим связан несомненный интерес многих петрашевцев к проблеме крестьянского восстания. Об этом не раз говорил Петрашевский, об этом сохранились высказывания А. П. Баласогло, Момбелли и других. Д. Д. Ахшарумов в своей автобиографической записке выдвигал мысль о необходимости сближения с народом и прямо заявлял о своей готовности участвовать в такого рода революционной деятельности. Все это свидетельствует о том, что петрашевцы как представители революционной мысли в России сделали шаг вперед по сравнению с декабристами.

Наиболее последовательным из петрашевцев было свойственно чувство революционной перспективы. Они ощущали себя участниками передового общественного движения своего времени и следили за различными проявлениями этого

движения. В следственном деле не раз упоминались революционные события в Польше. В дневниках некоторых участников кружка содержатся записи о польском восстании 1830 года. Статья на эту тему была прочитана на одном из собраний, происходивших у Момбелли. Поляк И. Л. Ястржембский, один из активных петрашевцев, горячо говорил на собраниях кружка об освобождении Польши. Один из виднейших петрашевцев, Н. А. Спешнев, был связан с кругами революционной польской эмиграции в Париже и близко знал Эдмонда Хоецкого, помощника Мицкевича по изданию польской газеты «*Tribune des peuples*».

Мысли Мицкевича об освобождении своей родины с помощью русских друзей, его надежды на союз с русскими единомышленниками в борьбе против самодержавия были близки петрашевцам. Да и весь облик Мицкевича, поэта-гуманиста, увековеченный в стихах Пушкина:

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся, —

должен был привлекать внимание петрашевцев. Они воспринимали Мицкевича не только как поэта, но и как глашатая идеи дружбы народов, как идейного вождя польского освободительного движения.

В этой связи надо вспомнить и о том, что петрашевцы проявляли особый интерес ко всяким сведениям о волнениях на Украине, в частности

к делу Кирилло-Мефодиевского братства. В кружке петрашевцев много говорили об этом деле, передавали друг другу доходившие до Петербурга слухи о нем. Так, в дневнике Момбелли находим запись об аресте Т. Г. Шевченко и его товарищей, взволновавшем участников кружка. Момбелли, лично знавший Шевченко, отмечал его роль в освободительном движении угнетенного народа, развертывавшемся на Украине. Момбелли понимал, что оно представляет собой составную часть общереволюционной борьбы в России. Он считал, что украинцы уже готовы к действию: «С восстанием же Малороссии зашевелился бы и Дон, давно уже недовольный мерами правительства. Поляки тоже воспользовались бы случаем. Следовательно, весь юг и запад России взялся бы за оружие».

Петрашевский тоже придавал большое значение этим событиям. После разгрома Кирилло-Мефодиевского братства он говорил, что «несмотря на неуспех помянутого предприятия, оно все-таки пустило корни в Малороссии, чему много способствовали сочинения Шевченко, которые разошлись в том краю во множестве и были причиною сильного волнения умов, вследствие которого и теперь Малороссия находится в брожении».

Все это показывает, что если в программе петрашевцев и не было разработанного плана организованного революционного выступления, то все же в их деятельности были элементы заговора, а в перспективе — подготовка революци-

онного выступления. Особенно важно в этом смысле обсуждение крестьянского вопроса, занимавшего большое место на собраниях кружка.

В 1848 году Петрашевский составил и, вероятно, прочел на одной из «пятниц» свой «Проект об освобождении крестьян», где вслед за Белинским решал этот вопрос в революционно-демократическом духе. Первого апреля 1849 года Петрашевский говорил о необходимости свободы книгопечатания, реформы судопроизводства и освобождения помещичьих крестьян. После его речи на ту же тему выступил В. А. Головинский, сказавший, что это вопрос первостепенной важности. По словам провокатора Антонелли, он «говорил с жаром, с убеждением, с истинным красноречием, и видно было, что речь его лилась прямо из сердца... Он говорил, что грешно и постыдно человечеству глядеть равнодушно на страдание этих 12 <миллионов> несчастных рабов. Что идею каждого должно быть старание освободить этих угнетенных страдальцев. Что освобождение крестьян не представляет никакого чрезвычайного затруднения, потому что они сами уже в эту минуту сознают всю тягость и всю несправедливость своего положения и стремятся всячески от него освободиться».

Среди петрашевцев не было полного единогласия по многим политическим вопросам, в частности и по вопросу об уничтожении крепостничества. Две тенденции — либеральная и демократическая — противостояли друг другу, когда на собраниях кружка спорили на эту тему.

Петрашевец А. П. Милюков, свидетельствуя в своих воспоминаниях о том, что участников кружка больше всего занимал вопрос об освобождении крестьян, сообщает, что по этому поводу высказывались разные мнения: одни говорили, что «скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху», другие утверждали, что народ не верит в новую пугачевщину и будет «терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти». В этом духе особенно настойчиво высказывался Ф. М. Достоевский, который в подтверждение своих слов ссылался на мысли, выраженные Пушкиным в стихотворении «Деревня». «Я помню, — пишет Милюков, — как однажды с обычной своей энергией он читал стихотворение Пушкина... Как теперь, слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя...»

Наиболее демократическая часть кружка находилась под непосредственным влиянием Белинского, и оно бесспорно сыграло важную роль в формировании революционных антикрепостнических взглядов наиболее видных петрашевцев.

Знаменитое письмо Белинского к Гоголю оказало мощное воздействие на умы молодого поколения. 15 апреля 1849 года на квартире у Петрашевского в присутствии двадцати человек Ф. М. Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским. Согласно доносу Антонелли, известное

письмо, в котором Белинский «говорил в неприличных и дерзких выражениях о православной религии, судопроизводстве, законах и властях», произвело «всеобщий восторг». Некоторые из присутствующих в особенно сильных местах вскрикивали, другие улыбались и говорили что-то про себя, Баласогло «приходил в исступление»; одним словом, заключал Антонелли, «все общество было как бы наэлектризовано».

Глубокое влияние Белинского можно без труда проследить во взглядах и суждениях многих петрашевцев. Оно сказалось и в литературно-общественных воззрениях самого Петрашевского, и в ранней прозе таких участников кружка, как М. Е. Салтыков и Ф. М. Достоевский, и в поэзии А. Н. Плещеева, и в образе мыслей многих других петрашевцев.

Усваивая теоретические взгляды Белинского, изучая системы западноевропейского утопического социализма, петрашевцы сумели в своей пропаганде подняться до уровня революционно-демократической мысли, складывавшейся в 40-х годах. Именно этим объясняется тот факт, что петрашевцы втягивали в орбиту своего влияния все лучшие передовые силы, созревавшие в тогдaшнем русском обществе. Показательно, что многие выдающиеся деятели 60-х годов вышли из кружка петрашевцев. Творчество Салтыкова-Щедрина, начавшего свою деятельность в этом кружке, явилось живым олицетворением прямой преемственности передовых идей, характерных для двух эпох революционного развития — для 40-х и 60-х годов.

В этой связи нельзя не назвать и поэта Плещеева, который в течение всей своей многолетней деятельности сохранил преданность демократическим идеалам, берущим начало в идейной жизни кружка 40-х годов.

Знаменательно также, что будущий великий революционер Н. Г. Чернышевский, не являясь членом кружка, тем не менее был в годы студенчества связан с некоторыми петрашевцами, пользовался книгами из их библиотеки и несомненно испытал на себе влияние социалистических идей, господствовавших в кружке. Петрашевец А. В. Ханьков, убежденный фурьерист, человек самых радикальных взглядов, впервые познакомил молодого Чернышевского с учением Фурье, оказавшим серьезное влияние на формирование его мировоззрения. Вместе с И. Дебу Ханьков способствовал пробуждению революционного образа мыслей у Чернышевского, указав ему на «множество элементов возмущения» в народе.

Чернышевский был, несомненно, близок к тому, чтобы стать одним из посетителей «пятниц» Петрашевского. Он писал об этом в своем дневнике: «Я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество, и со временем, конечно, вмешался бы». Таким образом, если бы деятельность кружка не была насильственно прекращена, студент Чернышевский, конечно, разделил бы участь петрашевцев. 25 апреля 1849 года, через два дня после их ареста, взволнованный этим событием, он сделал в дневнике гневную запись, в которой объявлял достойными виселицы

главных вдохновителей правительственной реакции.

Некоторые другие современники этих событий, подобно Чернышевскому, также сочувствовали петрашевцам и многим были им обязаны в своем идейном развитии. В этом отношении интересны строки Некрасова в его поэме «Недавнее время»:

Помню я Петрашевского дело,
Нас оно поразило, как гром,
Даже старцы ходили несмело,
Говорили негромко о нем.
Молодежь оно сильно пугнуло,
Поседали иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

Этот отрывок показывает, как велико было впечатление, произведенное на передовых людей разгромом кружка. Не случайно Некрасов сравнивает политическую реакцию 40-х годов с террором, который последовал за восстанием декабристов и ликвидацией этого восстания. Ведь дело петрашевцев представляло собой второй в России крупный политический процесс, имевший своей прямой целью подавление революционного движения в стране.

2

23 декабря 1849 года в петербургских газетах «Русский инвалид» и «Санктпетербургские ведомости» было опубликовано правительственное

*

сообщение, в котором прямо было указано на связь кружка с развитием социалистических идей на Западе, на враждебное отношение членов кружка к религии и к собственности, на их стремление к радикальному изменению «отечественных законов». «Пагубные учения [социалистов],¹ — говорилось в этом сообщении, — породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, в некоторой степени и в нашем отечестве. . . По произведенному исследованию обнаружено, что служивший в министерстве иностранных дел титулярный советник Буташевич-Петрашевский первый возымел замысел на ниспровержение нашего государственного устройства с тем, чтобы основать оное [на началах социализма и коммунизма] на безначалии. Для распространения своих преступных намерений он собирал у себя в назначенные дни молодых людей разных сословий. Богохуление, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц — вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей! . . .

. . . Генерал-аудиториат, по рассмотрении дела, произведенного военно-судебною комиссией, признал, что 21 подсудимый, в большей или меньшей

¹ В квадратных скобках приведены слова, вычеркнутые из текста информации Николаем I.

степени, но все виновны: в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка, — а потому и определил: подвергнуть их смертной казни расстрелянием. . .

Его величество, по прочтении всеподданнейшего доклада генерал-аудиториата, изволил обратить всемиловитейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания, и вследствие того высочайше повелел: прочитать подсудимым приговор суда при сборе войск и, по свершении всех обрядов, предшествующих смертной казни, объявить, что государь император дарует им жизнь, и затем, вместо смертной казни, подвергнуть их следующим наказаниям. . .»

Далее в правительственном сообщении приводилась таблица, указывавшая сословие, возраст и степень виновности каждого «преступника», а также род понесенного им после «высочайшей конфирмации» наказания.

Этот документ борьбы самодержавия с революционным движением наглядно показывает, что николаевское правительство хорошо понимало, как велика опасность антикрепостнической и социалистической пропаганды, которая в крепостной России становилась явной угрозой для самых основ «государственного устройства». Приведенный документ свидетельствует также о том, что охранители этого «устройства» гораздо более здраво оценивали своих противников, чем позднейшие либеральные историки, потратившие немало уси-

лий, чтобы доказать «незначительность» кружка петрашевцев и его деятельности.

Лучшие люди 40-х годов задыхались в атмосфере гнета и полицейского произвола. «Положение наше становится нестерпимее день ото дня, — восклицал Т. Н. Грановский в письме к Герцену. — Благо Белинскому, умершему вовремя! Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Когда же развалится этот мир?.. Слышен глухой общий ропот, но где силы для оппозиции?»

Грановский не видел вокруг себя сил для оппозиции, между тем протестующая мысль пробуждалась и стремительно росла — вопреки ожесточенному сопротивлению реакции. Петрашевцы вели пропаганду своих идей с большой смелостью и последовательностью. Некоторые из них делали попытки сближения с народом. Сам Петрашевский, отыскивая оппозиционные элементы в разных слоях общества, стремился как можно шире распространить свое влияние. А оно ощущалось даже в провинции.

Среди петрашевцев были люди различных убеждений, разного образа мыслей. Одни из них, например Спешнев и Момбелли, были сторонниками насильственного свержения власти. Долго живший за границей и знакомый с произведениями Маркса и Энгельса, разносторонне образованный человек, Спешнев считал революционное выступление назревшей необходимостью. В следственном деле говорится, что он возвратился в Россию, «заразившись коммунистическими идеями», и меч-

тал «о способах произвести переворот и в нашем общественном быте».

Некоторые члены кружка, собиравшиеся у поэта Дурова, как например, Момбелли, Львов, Григорьев (автор «Солдатской беседы»), а также и Спешнев, отличались большой радикальностью взглядов. В кружке, находившемся под влиянием Спешнева, как уже говорилось, созревала мысль об организации тайного общества по всем правилам конспирации. Участники кружка считали насущной необходимостью пропаганду в народе, подготовку освобождения крестьян «хотя бы путем восстания». Именно в дуровском кружке возникла мысль об организации тайной типографии, о печатании запрещенных статей за границей, о необходимости пропаганды в войсках.

Сам Петрашевский был глубоко убежден, что государственное устройство России несовместимо с естественными стремлениями человека, и страстно искал путей к обновлению общества.

Петрашевский был необычайно искусным и неутомимым мастером пропаганды. Известно, что в «Карманном словаре иностранных слов» под видом объяснения самых невинных терминов и понятий он умудрялся неожиданно высказывать такие мысли, изложение которых на русском языке было почти невероятно в то время. Так появилось пояснение программы политических реформ под словом «Ораторство», осуждение частной собственности в статье «Оракул», протест против крепостного права в статьях «Негрофил», «Нивеллеры» и т. д. Однако для Петрашевского про-

паганда не была самоцелью. Заканчивая свою речь на обеде в честь Фурье, он говорил: «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо приговор наш исполнить». Петрашевский обладал темпераментом настоящего революционера. Следственная комиссия отмечала, что во время допросов он «не только не изъявил раскаяния в своих поступках, но объявил, что, стремясь к достижению полной и совершенной реформы быта общественного в России, желал стать во главе разумного движения в народе русском».

Прекрасным памятником деятельности Петрашевского остается знаменитый «Карманный словарь иностранных слов», составленный им совместно с В. Н. Майковым, издание, которым петрашевцы, по словам Герцена, «удивили всю Россию». В этом словаре в статье «Нация» Петрашевский писал, что «Россию и русских ждет высокая и великая будущность», и утверждал, что она осуществится только тогда, когда народ усвоит всю предшествовавшую образованность и переживет все страдания «путем собственного тяжелого опыта», то есть по примеру стран Западной Европы осуществит революционные преобразования.

Увлекаясь социально-утопическим учением Фурье, Петрашевский порой впадал в крайности, переоценивал практические возможности этого учения; так, он всерьез мечтал жить в фаланстере и даже делал попытку организовать фаланстер в своей деревне. Утопические взгляды Фурье, утверждавшего, что счастливое будущее челове-

чества может быть достигнуто путем мирного убеждения и разумной организации общества, не могло не влиять на последовательность тех революционных выводов, которые делал Петрашевский из наблюдений над мрачной действительностью крепостной России.

Несмотря на это, пропагандистская деятельность петрашевцев сопровождалась целым рядом практических мероприятий, которые вовсе не носили наивно-утопического характера и в этом отношении несколько не были похожи на затею организовать фаланстер в крепостной деревне. Сюда относится самый факт выпуска «Карманного словаря иностранных слов», имевшего огромное значение для пропаганды идей петрашевцев. Здесь же надо отметить и попытку организации подпольной типографии, и создание коллективной библиотеки социалистической литературы, для которой выписывались иностранные книги и журналы (в том числе запрещенные в России); в этой библиотеке можно было встретить «Нищету философии» Маркса (на французском языке) и «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса (на немецком языке), а также сочинения Фурье, Вольтера, Дидро, Фейербаха, Прудона, романы Жорж Санд и т. п.

Обширной личной библиотекой Петрашевского пользовался весьма широкий круг людей. По словам одного из членов кружка, владелец ее делился книгами даже с людьми, мало ему знакомыми. «Выписывать как можно больше книг, — рассказывает Д. Д. Ахшарумов, — и раздавать читать

было первым и самым важным средством. Книги переходили из рук в руки, и таким образом за-теяна была пропаганда чтением книг».

Революционное движение 40-х годов питалось ненавистью к социальному строю, основанному на неравенстве и угнетении. Живое сочувствие закрепощенным трудовым массам и горячая вера в грядущее счастье человечества, в будущий разумный и справедливый общественный порядок воодушевляли петрашевцев — восторженных поклонников учения Фурье, которое они с необычайной настойчивостью стремились пересадить на русскую почву. Они считали великого французского утописта пророком нового времени, его теории подвергались оживленному обсуждению на собраниях кружка.

Вместе с критическим обличением буржуазного общества петрашевцы заимствовали у Фурье и слабые стороны его положительной программы — непонимание реальных путей борьбы, надежды на мирное введение социализма. Нужна была гениальность основоположников научного коммунизма, чтобы критические идеи утопистов заменить последовательно-революционной идеологией, чтобы превратить наивные мечты о «золотом веке» человечества в боевую программу и тактику рабочего класса. Но замечательно, что петрашевцам во многих случаях удавалось преодолевать слабые стороны учения Фурье. Мирный характер последнего они подчеркивали гораздо более настойчиво во время суда и следствия, чем во время своих собраний по «пятницам». Некоторые петрашевцы

шли дальше социально-утопических теорий. Один из них заявил на следствии: «Находясь в связи с людьми, которые не все были приверженцами учения Фурье, но выражали и другого рода идеи, касавшиеся изменений административных и социальных, я опасался скомпрометировать и себя, и учение Фурье».

Если идеи Фурье на русской почве влияли прежде всего в плоскости политической и экономической, то в других областях идеологии оказывали свое влияние французские писатели и историки. Передовые идеологические веяния, шедшие из Франции, помогали русской интеллигенции строить свою демократическую культуру и искусство.

Не удивительно, что к Франции, стране, которая, по словам Ленина, «разливала по всей Европе идеи социализма»,¹ стране, пережившей революционные потрясения, направленные против старого порядка, обращались все оппозиционные силы крепостной России. Романы Жорж Санд с их гуманистической тенденцией, призывавшие к освобождению личности, сатирическая поэзия Беранже, пламенные строфы Барбье пользовались в России тех лет неизменным сочувствием и вниманием. Целая полоса в развитии русской литературы связана с этим движением с Запада передовых идей, находивших в России благодар-

¹ В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 271.

ную почву. В знаменитой четвертой главе книги «За рубежом» Салтыков-Щедрин ярко и точно определил то значение, какое имела для передовых русских людей культура революционной Франции. Из «Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Санда... — писал Щедрин, — лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас...».

3

Литературные интересы занимали в кружке петрашевцев весьма большое место. Многие петрашевцы имели самое непосредственное отношение к литературе: прозаики, поэты, журналисты посещали кружок вместе с учителями, художниками, музыкантами.

Петрашевец Достоевский был в середине 40-х годов уже известным писателем, автором «Бедных людей». Салтыков за свои ранние повести в 1848 году был отправлен в ссылку. Постоянным членом кружка, певцом его стремлений являлся молодой Плещеев — автор книжки стихотворений (1846), представляющей значительное явление в поэзии 40-х годов. Активный петрашевец Дуров был талантливым поэтом и переводчиком. Близко стоял к кружку Петрашевского высокоодаренный, но рано погибший критик и публицист Валерьян Майков. Членом кружка был критик и педагог А. П. Милюков, выпустивший в 1847 году книгу

«Очерк истории русской поэзии». Помимо нескольких поэтов, стихи которых представлены в настоящем сборнике, можно было бы назвать еще довольно большой круг литераторов и журналистов (вроде В. В. Толбина, П. М. Ковалевского, М. И. Попова и других, посещавших Петрашевского или связанных с отдельными членами его кружка).

На собраниях кружка постоянно обсуждались литературные вопросы и читались вслух различные произведения как старых, так и современных писателей. Из показаний Момбелли видно, что у него читали вслух комедию Грибоедова «Горе от ума» (преимущественно отрывки, не пропущенные цензурой). В другой раз один из участников собрания выступил с разбором стихотворения Лермонтова «Бородино». Была также прочитана статья, содержащая «описание отношений и дуэли Пушкина с Дантесом и об участии в этой истории неизвестного подсылателя записок»; тогда же было прочитано описание последних минут Пушкина, сделанное Жуковским.

Д. Д. Ахшарумов сообщал, что один из вечеров у Петрашевского «прошел весь в споре о достоинстве Гоголя и Крылова и кто из них более пользы произвел и более известен народу. Спорили все...». Ф. Г. Толь рассказывал о разговоре с Дуровым о Лермонтове и Белинском. Он же сообщал о своем споре с Дуровым и Достоевским о том, «должна ли изящная литература иметь цель свою в одном осуществлении идеи прекрасного... причем я держался мнения, что

литература должна идти об руку с действительностью и что поэт должен быть прежде всего сыном своего отечества, ко благу которого должен клонить всю свою деятельность!»

Петрашевцы придавали очень важное значение литературе как действенному средству идеологической пропаганды. В 1849 году на одном из собраний кружка Петрашевский произнес речь на тему «Как должны поступать литераторы, чтобы вернее действовать на публику...». «Чтобы наши литераторы знали, каким образом... должно переселять свои идеи в публику, он, — по сообщению Антонелли, — обратил внимание на западную литературу — на романы Эжена Сю и Жорж Санд. Он говорил, что эти романы потому имеют такое влияние на публику, что в них повсюду разлита истина, которую творцы их изучали со всей горячностью. Что журналистика на Западе потому имеет такой вес, что всякий журнал есть там отголосок какого-нибудь отдельного класса общества». Тогда же Петрашевский выдвинул предложение издавать журнал на акционерных началах.

В то же время участники кружка понимали, что литература может выполнять свое назначение, то есть распространять социальные идеи, при обязательном условии: она должна свободно развиваться в соответствии с потребностями общества. Свободное же развитие литературы немислимо в условиях цензурного гнета. Описывая одно из собраний кружка, где речь шла об отечественной литературе, С. Ф. Дуров писал в своих пока-

заниях: «Некоторые утверждали, что в настоящее время от строгости цензуры литература не существует; другие же, напротив того, говорили, что она есть и не быть не может у такого народа, каков народ русский». Отсюда естественно следовал вывод о необходимости борьбы с цензурой. Цензурную реформу петрашевцы считали одной из самых важных задач, наряду с необходимостью отмены крепостного права.

Литературные взгляды петрашевцев не сложились в стройную и законченную систему хотя бы уже потому, что под собирательным названием петрашевцев мы находим слишком различные писательские индивидуальности, объединенные оппозиционностью политических настроений, а не единством творческих установок. Тем не менее можно говорить о некоторых общих принципах, нашедших свое отражение и в литературных памятниках движения петрашевцев — «Карманном словаре иностранных слов», критических статьях В. Н. Майкова, в упомянутом «Очерке» А. П. Миллюкова, а также в поэтическом творчестве членов кружка.

Эстетические взгляды петрашевцев основывались на понимании социального значения литературы, на признании высокой роли писателя как учителя общества. Глубоко прогрессивный смысл движения петрашевцев нашел свое выражение в области искусства в виде призывов к реализму, к правдивому отражению жизни, к высокой идейности искусства.

Большой интерес представляют литературные

взгляды самого Петрашевского. Немногие сохранившиеся на этот счет данные позволяют все же сделать некоторые выводы. Можно с уверенностью сказать, что Петрашевский, как человек разносторонне образованный, прекрасно разбирался в литературных вопросах, хорошо знал поэзию. Он нередко высказывал свои суждения на литературные темы, оценивая деятельность тех или иных литераторов. Так, он с уважением отзывался о Достоевском как художнике. Даже будучи узником Петропавловской крепости, Петрашевский обращался в следственную комиссию с призывом бережно отнестись к дарованию своих товарищей. Он писал: «Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) — есть собственность общественная, достояние народное». В бумагах Петрашевского, в том числе и писанных в заключении, нередко встречаются литературные образы и цитаты. Так, он приводит цитату из «Онегина», дважды цитирует на память элегию Баратынского «На смерть Гёте». В следственных материалах по делу Петрашевского есть и образцы его собственных стихотворных опытов.

Среди записей Петрашевского, относящихся к началу 40-х годов, сохранилось очень важное высказывание его о поэзии: «Есть три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слов. Часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании».

Это характерное замечание свидетельствует

о том, что Петрашевский ценил прежде всего содержательную поэзию, поэзию мысли. С этой точки зрения его не удовлетворяли стихи Аполлона Майкова (вероятно, антологические), в которых он находил «последнюю только», то есть поэзию формы. Петрашевского несомненно отталкивали стремления молодого Майкова отрешиться от социальных проблем современности.

Уже в эти годы Петрашевского занимала проблема народной поэзии. В списке тем, который он составил для своего предполагаемого журнала (1842—1843), значилась тема: «О том, какими должны быть народные песни в настоящее время, чтобы им быть в существе народными». О политической поэзии Петрашевский высказался еще более определенно спустя два-три года. В «Словаре иностранных слов», объясняя жанр «Оды», он сумел указать на популярность политической песни в революционной Франции, поставив ее развитие в связь с теми «обстоятельствами», в которых она возникла. Петрашевский назвал здесь и крупнейшего представителя этой политической поэзии — Беранже; он дал замечательную оценку французского поэта:

«Новый век — и новые явления... У нас оду заменила элегия... — отголосок сознательного воззрения на жизнь и современный мир. Пушкин и Лермонтов — представители этой возрожденной поэзии. В других литературах, например во Франции, на месте оды развилась, согласно с обстоятельствами, политическая песня. Французы, может быть, ни к одному из своих писателей не чув-

ствуют такой симпатии, как к Беранже. У них значение Беранже важно: это не простой народный весельчак; несмотря на легкую, шутливую форму, поэзия его имеет глубокий смысл...»

В той же статье «Ода» Петрашевский набросал общую картину развития русской литературы. Оценивая эпоху господства оды, автор указывает на слабые черты русской поэзии XVIII века, ограниченность ее тематики, оторванность от жизни: «Поэзия славилась жирные обеды и тех, кто давал их, и наивно любовалась разноцветными огнями фейерверков и иллюминаций». Крупнейшим представителем поэзии XVIII века был Державин. Петрашевский отдает должное его «огромному таланту» и выделяет державинское «Послание к Храповицкому» — эту «искреннюю исповедь души благородной и преисполненной справедливого негодования на существующий порядок общественный...». Но в целом Державин остается для него представителем того периода русской литературы, когда она еще чуждалась общественных интересов, была далека от народа и подавлена «тяжелым гнетом» придворных предрассудков и еще не преодоленных условностей классицизма. Не вполне справедливые с исторической точки зрения, эти литературные суждения Петрашевского тем не менее явились фактом борьбы за демократизацию русской литературы.

Эпоха расцвета отечественной литературы связана для Петрашевского с именами Пушкина и Лермонтова. Оба они представители «возрожденной поэзии». В их творчестве впервые нашли

отражение живая современность и «сознательное воззрение на жизнь». Важно подчеркнуть, что именно такое понимание пушкинского этапа, бегло намеченное Петрашевским, является одним из основных пунктов историко-литературной концепции Белинского, а затем и Добролюбова.

Петрашевский, таким образом, приближался, под несомненным влиянием Белинского, к обоснованию демократической концепции русской литературы. Его взгляды не были случайными для кружка петрашевцев. В 1847 году вышла из печати книжка А. П. Милюкова «Очерк истории русской поэзии». Развивая в основном ту же точку зрения на русскую литературу, эта работа особенно наглядно показывает влияние на литературные взгляды петрашевцев критики Белинского, отчетливо ощущавшееся и современниками. Так, П. А. Плетнев писал по поводу книги Милюкова Я. К. Гроту: «Вот в ней-то видишь плоды учения Белинского. Это экстракт всего, что печатано было о русских поэтах в „Отечественных записках“».

Отзыв о Беранже в «Карманном словаре иностранных слов» совпал с оценкой этого поэта, данной Белинским. В 1844 году он писал: «*Народный* поэт — тот, которого весь народ знает, как, например, знает Франция своего Беранже...».

На известном обеде, данном петрашевцами в честь Фурье, по-видимому по инициативе Петрашевского, было прочитано стихотворение Беранже «Les foux», воспевавшее вождей утопического социализма: Сен-Симона, Фурье и Анфантена.

К сожалению, русский текст стихотворения, прочитанного Кашкиным, не сохранился; неизвестно также, кто из петрашевцев выполнил этот первый перевод одного из лучших стихотворений Беранже, получившего впоследствии широкую известность в переводе В. С. Курочкина («Безумцы»).

Следственная комиссия, разбиравшая дело петрашевцев, заинтересовалась стихотворением «Чудаки» и потребовала от Кашкина объяснений относительно его автора и содержания. Отвечая на вопросы комиссии, Кашкин писал: «Смысл этого стихотворения тот, что великие люди, появляющиеся в мире с новыми истинами, редко бывают оцениваемы современниками: их называют чудаками и только впоследствии отдают им справедливость. Таким великим человеком представлен и Фурье. Петрашевский привез это стихотворение ... но не сказал, от кого он получил его; оно переходило из рук в руки и было у меня в руках, когда садились за стол; но так как не все еще прочли его, то меня просили за обедом прочесть его вслух, что я и сделал».

Если принять во внимание, что Петрашевский любил и, несомненно, хорошо знал Беранже, а также и то, что он писал стихи и тщательно скрывал это даже от близких знакомых, то можно предположить, что первым в России переводчиком стихотворения «Les foux» был не кто иной, как сам Петрашевский (не исключено, впрочем, что стихи фигурировали на собрании кружка в подстрочном переводе).

Так по отдельным штрихам, по немногим сохранившимся данным восстанавливается литературная позиция Петрашевского — демократа, сторонника и пропагандиста гражданской поэзии.

4

Поэты кружка петрашевцев не создали самостоятельного поэтического направления, которое явилось бы определенным этапом в развитии русской литературы. Среди участников кружка не было выдающихся поэтических дарований. Петрашевцы Салтыков и Достоевский были крупнейшими прозаиками, поэтому искать отражение в их творчестве передовых идей 40-х годов следует, разумеется, в связи с анализом русской прозы. Наиболее активные участники собраний, такие, как Спешнев, Момбелли, Ханыков, более зрелые в политическом отношении, чем остальные члены кружка, не были поэтами. Стихи писали сравнительно второстепенные петрашевцы — Плещеев, Дуров, Баласогло, Ахшарумов, Пальм, Толбин, но профессиональными поэтами были только двое из них — Плещеев и Дуров. Известно, что писали стихи и некоторые другие члены кружка (например, Катенев), но их произведения почти не дошли до нас. Кроме того, в силу своего переходного, промежуточного характера деятельность петрашевцев, подавленная в самом начале, не могла породить такого мощного поэтического движения, какое возникло десятилетием позже.

И все же, несмотря на это, поэзия петрашевцев

представляет значительный интерес, поскольку в ней нашли отражение идейные течения 40-х годов и те стремления, которые лежали в основе деятельности кружка; она интересна также тем, что в ней можно обнаружить некоторые черты, характерные для послелермонтовской эпохи русской поэзии.

Поэтическое творчество петрашевцев следует рассматривать как составную часть передовой литературы 40-х годов. Вместе со стихами молодого Некрасова, вместе с лирикой Огарева поэзия петрашевцев в лучшей своей части входит в общий поток прогрессивных литературных течений того времени. Она образует известную промежуточную ступень, подготавливая господство в поэзии некрасовской школы. При этом поэзию петрашевцев только условно можно ограничить именами нескольких авторов, представленных в настоящей книге. Так же как кружок Петрашевского не охватывал всех представителей русского общества, разделявших прогрессивные взгляды 40-х годов, так и творчество поэтов-петрашевцев, естественно, не исчерпывает собою того течения русской поэзии, которое развивалось под влиянием общественного подъема и социально-утопических теорий этого времени. Здесь уместно напомнить любопытное замечание Достоевского о том, что название петрашевец — «неправильное, ибо чрезмерно большее число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным».

Общественно-прогрессивные веяния в той или иной мере отражались и в творчестве поэтов, по существу не связанных с кружком Петрашевского и в целом далеких от революции и социализма. Так, будущий славянофил и «почвенник» Аполлон Григорьев, на короткое время сблизившись с кружком, создал несколько произведений, проникнутых искренней ненавистью к самодержавному режиму и по своей художественной силе превосходящих многое написанное настоящими петрашевцами («Нет, не рожден я биться лбом...», «Прощание с Петербургом», «Когда колокола торжественно звучат...» и другие).

Поэт А. Н. Майков, известный своим тяготением к «чистому искусству», в годы общения с членами кружка написал поэмы «Две судьбы» и «Машенька», в которых Белинский отметил стремление «представлять жизнь в ее истине». При этом в «Машеньке» в духе традиций жоржсандизма и «натуральной» школы освещалось положение женщины в семье и обществе. Не случаен и тот факт, что поэма «Машенька» была опубликована в «Петербургском сборнике» Некрасова. Таким образом, общение с кружком оказывалось творчески плодотворным даже для тех поэтов, которые не разделяли политических взглядов петрашевцев или только на короткое время увлекались ими.

Обращаясь к поэтическому наследию петрашевцев, нельзя не заметить, что при всем его разнообразии жанры политической лирики в нем представлены немногими образцами. Дело в том,

что это прежде всего — подцензурная поэзия. Почти все тексты, вошедшие в данную книгу, были впервые опубликованы в легальных журналах, газетах и альманахах. Не удивительно, что легальная продукция петрашевцев (а нелегальная почти не дошла до нас) лишена остро-политических форм выражения. Элегия, нередко пессимистически окрашенная, явилась наиболее распространенным и наиболее естественным жанром, в котором петрашевцы могли выражать свои политические настроения и критическое отношение к действительности. Однако нельзя забывать и того, что в кружке петрашевцев имела хождение подпольная, нелегальная поэзия.

С уверенностью можно сказать, что в литературном наследии поэтов-петрашевцев, воспринявших традиции декабристской лирики, должны были быть антимонархические стихи, продолжавшие линию политической сатиры 20-х годов, но такие стихи почти не сохранились. Известно, что в 1843—1845 годах петрашевец Д. Д. Ахшарумов написал несколько стихотворений «в возмутительном духе». Одно из них называлось «Зимний дворец». По объяснению самого автора, стихотворение было написано после того, как он, «проходя однажды вечером мимо Зимнего дворца с социальными мыслями в голове», подумал о том, что «такое огромное здание, а пользы нет в том, а вред». Кроме того, он написал еще стихотворение, «насмешливое и неприличное», в котором осуждал царя. Третьим произведением, написанным Ахшарумовым в эти годы и позднее также

уничтоженным, были стихи о Рылееве, содержавшие «сожаление о смерти его»; они оканчивались «дерзким рассуждением... насчет смертного приговора над ним». Вряд ли можно сомневаться в том, что все эти произведения были написаны под воздействием декабристской лирики, распространившейся изустно и в списках.

Здесь уместно вспомнить и о том, что в 1846 году петрашевцем А. Н. Плещеевым было написано стихотворение «По чувствам братья мы с тобой...», в течение многих лет ходившее по рукам. Это стихотворение, в котором говорилось о тех временах, когда «пробьет желанный час и встанут спящие народы», было выдержано явно в духе декабристской традиции; именно по этой причине оно приписывалось Рылееву. Весьма показательна ошибка многих мемуаристов, комментаторов и читателей, долгое время не сомневавшихся в принадлежности этого стихотворения Плещеева Рылееву. Сам Плещеев сообщает, что в устной передаче оно позднее нередко приписывалось также и Добролюбову.

К этому перечню надо прибавить басню «Запасные магазины» неизвестного автора, прочитанную на одном из собраний кружка и опубликованную лишь в 1937 году.

Из материалов следствия известно, что петрашевец Катенев, собираясь уехать из Петербурга, написал «прощальные стихи», в которых содержалось резкое обличение столицы империи. Эта тема характерна для лирики петрашевцев. Социалисты-утописты видели в облике большого города

отчетливое выражение противоречий общественного развития, как бы синтез всех пороков буржуазной цивилизации. Стихотворение Катенева начиналось такими словами:

Прости, великий град Петра,
Столица новая разврата,
Приют цепей и топора,
Мучений, ненависти, злата...

К этому можно еще добавить, что герой автобиографического романа Пальма «Алексей Слободин», будущий петрашевец, хранил у себя «заветную тетрадку, заключающую в себе много разных запрещенных плодов российской даровитости». После смерти Пушкина он «набожно переписал» в эту тетрадку ходившее по рукам лермонтовское стихотворение «Смерть поэта».

5

Поэтическое творчество петрашевцев, таким образом, не дошло до нас в полном виде. Можно предполагать, что нелегальная политическая лирика занимала в кружке гораздо большее место, чем это казалось до сих пор. Восстановить сколько-нибудь полную картину пока нет возможности, и мы должны довольствоваться отдельными штрихами и намеками. И тем не менее стихи поэтов-петрашевцев, собранные воедино, должны рассматриваться как значительный литературный

памятник прогрессивного литературного движения 40-х годов, заполняющий известный пробел в нашем представлении об этом движении.

Общей чертой лирики петрашевцев является недовольство окружающей действительностью и наряду с этим, у большинства из них, мотивы пессимизма и разочарования. Призывы к подвигу, стремление вызвать сочувствие к угнетенным, интерес к народной истории и поэзии сочетаются в их стихах с жалобами на бессилие, на неумение найти пути к народу, преодолеть противоречия социальной жизни. Эту особенность поэзии петрашевцев можно объяснить тем, что, при всей своей твердой вере в могучие потенциальные силы русской нации, они не видели революционного народа и, подобно своим современникам Герцену и Огареву, не имели опоры в крестьянстве. Оторванность от масс порождала сознание бессилия и накладывала печать известной безнадежности. В то же время горячее сочувствие к бедствиям народа, стремление воплотить в жизнь идеи утопического социализма, сознание необходимости борьбы за политическую свободу — все это руководило поступками участников кружка, определяло их общественные взгляды и оказывало значительное влияние на их поэтическое творчество.

В стихах петрашевцев ярко выражены патриотизм, ощущение связи с предшественниками и забота о будущем, стремление опереться на прогрессивные традиции национальной культуры и мысль о необходимости ее самобытного развития. Уверенностью в избытке сил, скрытых до времени,

в том, что русский народ выдвинет перед всем миром своих деятелей, проникнуты, например, такие своеобразные строки А. П. Баласогло:

И может быть, что Русь в печали
Нагрезит миру сонм голов,
Какие вряд существовали
Отрадной гордостью веков.
Восстанут, может быть, такие
Своенородные умы,
Которых гимнами впервые
Подыдем голову и мы.

(«А. Н. В <ульф>»)

В лирике петрашевцев поэтическая мысль во многом сопутствовала теоретической мысли, интенсивно развивавшейся в то время. Совершенно чуждые официальной религии, многие участники кружка тем не менее разделяли характерное для утопических социалистов наивное представление о Христе как о первом проповеднике социалистических идеалов, который «народам завещал свободу и любовь» (Плещеев). Отсюда религиозные мотивы и образы в их лирике. Можно говорить и о преднамеренном использовании петрашевцами образа Христа в пропагандистских целях. Будучи убежденным атеистом, Петрашевский, например, писал в «Словаре иностранных слов»: «Так как учение Христа есть учение равенства, то рабство должно быть уничтожено в христианском мире... все помещики или землевладельцы должны пре-

доставить принадлежащие им воды и леса в общее пользование».

Настоящий сборник открывается стихотворениями Александра Баласогло, одного из активных посетителей «пятниц» Петрашевского. Они не могут быть причислены к поэзии петрашевцев в строгом смысле, поскольку сборник, в котором они впервые появились, вышел в 1838 году, то есть на шесть-семь лет раньше, чем начались знаменитые собрания по пятницам. Однако включение стихов Баласогло в настоящую книгу вполне оправдано: в них отразились те идейные искания, которые вскоре привели их автора в кружок петрашевцев.

Путь Баласогло служит живой иллюстрацией слов Герцена о том, что русская молодежь 30-х годов «прямо из немецкой философии шла в фалангу Фурье». От увлечения шеллингианством, журналом «Московский вестник», являвшимся органом «любомудров», Баласогло перешел в ряды русских фурьеристов, заняв среди них видное место. Близкий друг Петрашевского, Баласогло принадлежал к числу самых интересных людей в его кружке. В своей замечательной «Исповеди» он, между прочим, писал: «Я — коммунист, то есть думаю, что некогда, может быть через сотни и более лет, всякде образованное государство, не исключая и России, будет жить не случайными и несчастными агрегациями,¹ столплениями людей, грызущихся друг с другом за кусочки золота и

¹ Скоплениями (лат.). — *Ред.*

зернышки хлеба, а полными и круглыми общинами, где все будет общее, как обща всем и каждому разумная цель их соединения, как общим всем всесвязующий их разум.

В лирике Баласогло преобладает, в сущности, одна тема — одиночество мыслящего человека в обществе равнодушных светских глупцов. Поэт ощущает себя чужим в этой среде, он противопоставляет себя «детям суеты», знати, всем этим «лицам без голов». Он с презрением говорит о «литературных пигмеях», профанирующих высокое назначение поэта, выдающих свои «альбомные мечты» за истинную поэзию («Противоположность»). Он отворачивается от женщины, не сумевшей выделить его из светской толпы; в стихотворении «Презрела ты меня...» он набрасывает язвительными штрихами портрет своего счастливого соперника, представляя его в виде «паркетного франта», «богомольного философа» или «поэта без рифм».

В стихах Баласогло отчетливо выступает обличительная, хотя и лишенная определенной политической окраски, характеристика «общества». Не вступая в открытую борьбу с ним, поэт рисует его порочность и ничтожество, разрывает с ним и, одинокий, оскорбленный, уходит «в глушь скитанья», обращается к природе («Раздел»). Так возникает образ изгнанника, странника, неудачника, типичный вообще для поэзии петрашевцев.

В тесной связи с этой темой одиночества находится другой мотив стихов Баласогло: выдвижение героической личности, противопоставление ге-

ния толпе. Поэт убежден, что в мире лжи и лицемерия благополучное существование обеспечено только «общественным слизням», тем, кто идет давно проторенной дорогой. «Посредственный умом» и «пресмыкающийся в стаде» пользуются общим сочувствием. Но всякий, «кто не пошел, как идут все», неизбежно становится «пасынком природы», ощущает себя «лишним» («Лишний», «Приметы»). Только исключительная личность, может быть гениальный поэт или мыслитель, воодушевленный смелой и новой идеей, преодолает препятствия, воздвигнутые «обществом» на пути стремления человеческого разума к свободному развитию и совершенствованию:

Разорвет свободный гений
Паутину всех сетей...
...Проклял он мечты и факты,
Мир и всё, что в нем берег.
Прочь изъезженные тракты
Вдоль, и вкось, и поперек!
Степью, тундрой, океаном,
Дикой новью, целиком
Он промчится ураганом
И поставит мир вверх дном.

(«Гений»)

Понятия «разум», «мир» еще заменяют для Баласогло социальные категории. «Общество», которое он обличает, противопоставлено герою прежде всего по линии интеллектуальной, как сборище глупцов и невежд. В этом культе ума

нашла отражение приверженность автора в эти годы к идеалистической немецкой философии (недаром слова: «мысль», «ум», «разум» фигурируют у Баласогло чуть ли не в каждой строке). Но важно, что «свободный гений», сбросивший «с ума кlobук», трактуется им как решительный враг всякой косности и рутины. «Свет» пытается накинуть на него свои сети, смотрит на него как на безумца. В этом смысле идея «Гения» в какой-то мере перекликается с идеями тех «безумцев» из стихотворения Беранже «Les foux», перед которыми вскоре начал преклоняться Баласогло в качестве петрашевца и фурьериста.

Противопоставление гения обществу, толпе, которое отчетливо выражено у Баласогло, конечно, нельзя расценивать как проповедь «чистого» искусства. Это отзвук прочной поэтической традиции 20—30-х годов и, может быть, в известной мере дань шеллингианской философии искусства, культивировавшейся на страницах «Московского вестника» и позже — «Московского наблюдателя». Прогрессивная направленность стихов Баласогло не подлежит сомнению. Роль гения, миссия которого — будить умы и жечь глаголом сердца, будущий петрашевец отводит прежде всего Пушкину. Восторженное преклонение перед «жрецом-учителем» выражено в стихотворении «Противоположность», а спустя два года — в большом стихотворном произведении «А. Н. В<ульф>» (1840). В нём на первом плане — мысль о великом значении Пушкина для русской культуры. Большой интерес представляют строки, посвя-

щенные похоронам Пушкина. Здесь выражена глубокая скорбь о погибшем поэте. Обличая лицемерие знати:

Зачем в мундирах, в звездах, в лентах
Идет пешком вся эта знать?
Ей ни в стихах, ни в монументах
Себя пред ним не оправдать, —

автор продолжает и развертывает тему лермонтовской «Смерти поэта» («Убит! к чему теперь рыданья...» и т. д.).

Несмотря на явное преклонение перед Пушкиным, несмотря на многочисленные реминисценции из пушкинской лирики, стихотворный язык Баласогло далек от поэтики Пушкина. Тем не менее, при всей неровности и риторичности этих стихов, при всей часто неоправданной усложненности оборотов речи, затрудняющей чтение и порой затемняющей смысл, им нельзя отказать в большой внутренней экспрессии, эмоциональной напряженности. Своеобразное творчество Баласогло можно даже рассматривать как незавершенную попытку создания новой стилистической системы, противоречащей общепринятым литературным канонам. В этой связи интересно стремление автора к новым словообразованиям, впрочем не всегда удачным (в его стихах встречаются, например, такие слова: «вычувствуешь», «бездушник», «восторженник», «тайнище», «расплодь» и т. п.); привлекают внимание оригинальные рифмы, необычные для того времени (например: «колет» — «сто лет»,

«ваших» — «чаш их» и проч.). Все это, без сомнения, «резало ухо» литературным староверам, и нет ничего удивительного, что стихи Баласогло встретили отрицательную оценку на страницах журнала «Библиотека для чтения», руководимого О. И. Сенковским.

6

Пушкинское влияние вообще нельзя считать характерным для поэзии петрашевцев. Только в творчестве Дурова мы найдем более или менее ощутимую канонизацию пушкинского стиха, осложненную, впрочем, рядом других веяний. Разумеется, имя Пушкина произносилось в кружке с большим уважением. Как и для Белинского, Пушкин был для петрашевцев первым истинно национальным русским поэтом, давшим мощный толчок развитию родной литературы. Мы видели, что именно так понимал значение Пушкина Петрашевский. А. П. Милюков рассказывал, что Достоевский читал у Дурова стихи Пушкина и Гюго и «при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше как художник».

Несмотря на все это, в демократической поэзии 40-х годов пушкинское влияние порой уступает влиянию другого гиганта русской поэзии, только что сошедшего со сцены. Обличительный пафос и мятежный дух поэзии Лермонтова, ее негодующая сила и горький пессимизм во взгляде на современность, а также ее народные мотивы совпадали с настроениями и взглядами петрашевцев.

Вот почему лермонтовские мотивы явственно звучат в стихах Плещеева, Пальма и Дурова. Современность нуждалась в лермонтовской теме, действительность поставляла для нее новый и новый материал, когда замолк сам поэт. Глубочайший поворот к народу, намеченный Лермонтовым в «Родине», предстояло завершить Некрасову, его наследнику и продолжателю. Но сложный процесс развития идей народности в поэзии находил отражение и в творчестве второстепенных поэтов, выступивших тотчас после Лермонтова. Конечно, они не могли заменить его и в малой мере. Но именно они, поэты, связанные с передовым общественным движением, должны были первыми подхватить лермонтовскую традицию.

В 1846 году вышел сборник стихов Алексея Плещеева, который с полным правом можно считать поэтическим манифестом кружка петрашевцев. Тогда же в «Отечественных записках» появилась статья Валерьяна Майкова, посвященная этому сборнику, в которой критик, тесно связанный с кружком, превосходно разъяснил, чем была поэзия Плещеева для людей 40-х годов, воодушевленных социалистическими идеалами. «Г. Плещеев, — писал В. Майков, — вообще нередко говорит в своих стихах о самом себе; но это не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоска по утраченном личном счастье, — нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как

в смрадной темнице. Он хотел бы выломать железные решетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольной грудью своим страдающим, изнеможенным и бес- сильным братьям...»

Эти слова, написанные по поводу стихов Плещеева, как бы предвосхищают известные строки из статьи Добролюбова «Темное царство», где создан мрачный образ закрепощенной страны — «темной и тесной тюрьмы», «смрадной темницы», в которую не проникает «ни один луч светлого дня». В своей статье В. Майков ставит Плещеева на первое место среди современных ему поэтов, он даже готов считать его непосредственным приемником Лермонтова: «В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев бесспорно первый наш поэт в настоящее время...». В этом суждении, несомненно, отразилось отношение к Плещееву целого поколения передовых людей.

Одним из последних произведений Лермонтова было знаменитое стихотворение, в котором как бы изображена дальнейшая судьба пушкинского про- рока, пустившегося обходить «моря и земли»:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...

(«Пророк»)

Одним из первых появившихся в печати стихотворений Плещеева была «Дума», где, подобно Лермонтову, обличавшему (тоже в «Думе») постыдное равнодушие своих сверстников «к добру и злу», молодой поэт, развивая его мысли, сурово осуждал настроения общественного индифферентизма, безразличия к тому, что «слезы из очей должно бы исторгать»; в том же стихотворении нашла продолжение и пушкинско-лермонтовская тема пророка, не понятого и отверженного толпой:

Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах, —
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...

Плещеев, конечно, сознательно повторил здесь лермонтовские слова о «чистых учениях» «любви и правды». У Лермонтова за этими словами скрывается определенный общественный смысл; но в стихах Плещеева они приобрели еще более конкретное наполнение и стали восприниматься как условное поэтическое обозначение теорий западноевропейского утопического социализма. А если вспомнить, что русские социалисты постоянно называли Фурье, Сен-Симона и других утопистов, пропагандировавших «учения любви и правды», «пророками», «пророками нового мира» и т. д., то станет ясно, какое значение приобретает тема пророка в стихах петрашевцев. Воспринятая от Лермонтова, она становится одним из главных

мотивов ранней плещеевской лирики, выражая глубоко прогрессивное понимание роли поэта как вождя и учителя, соответствуя взгляду на искусство как на орудие переустройства общества. И характерно, что те стихотворения Плещеева, в которых отчетливо выражена эта тема («Любовь певца», «Сон», «Поэту»), полны прямых реминисценций из Лермонтова.

Небольшая поэма Плещеева «Сон», повторяющая ситуацию «Пророка» (сон в пустыне, явление богини, превращение в пророка), позволяет говорить о том, что Плещеев не только варьировал мотивы своих гениальных предшественников, но пытался дать им свою трактовку. Плещеевского пророка ждут камни, цепи, тюрьмы. Но, вдохновленный идеей правды, он идет к людям:

Мой падший дух восстал... И утесненным вновь
Я возвещать пошел свободу и любовь...

Здесь нет ощущения бесполезности подвига, нет мрачного лермонтовского колорита. Несмотря на все испытания, плещеевский пророк идет вперед, он по-прежнему готов служить людям. Но тут же звучит и другой характерный и новый мотив — мотив жертвенности, неизбежной гибели пророка.

Лирика Плещеева — гражданская лирика. Скорбь о бедствиях родной страны («На зов друзей»), ненависть к дворцам и золотым палатам — все это имеет определенную идеологическую окраску, в значительной мере идущую от учения Фурье с его проповедью всеобщего счастья, осу-

ждением неравенства, противоречий богатства и бедности. Из тех же источников идет и тема личного, семейного счастья, которую разрабатывали поэты-петрашевцы. У Плещеева она трактуется в ряде стихотворений как трагедия брака, разбивающего любовь («Бал»), как проповедь любви разумной, основанной на сходстве взглядов и убеждений («Ответ»).

В творчестве Плещеева находит свое дальнейшее развитие и лермонтовская тема родины. В стихотворении «Отчизна» (1862) поэт говорит о своей любви к стране степных просторов, весенних разливов и убогих деревень, где живет вековая мечта о свободе. Было время, его манил «чужбины берег дальний», перед ним рисовались заманчивые картины пышной чужеземной природы. Но когда поэт задумался над «целью бытия», взор его обратился к отчизне:

Покинул я тогда заветную мечту
О стороне вояшебной и далекой...
И в родине моей узрел я красоту,
Незримую для суетного ока...

Поля изрытые, колосья желтых нив,
Простор степей, безмолвно-величавый;
Весеннею порой широких рек разлив,
Таинственно шумящие дубравы.

Святая тишина убогих деревень,
Где труженик, задавленный невзгодой,
Молился небесам, чтоб новый, лучший день
Над ним взошел — великий день свободы.

В ранней лирике Плещеева есть и активные призывы к борьбе, обращенные к молодому поколению. Знаменитые строки «Вперед! без страха и сомненья...», известные под названием «гимна петрашевцев», сохраняли свою силу не только для эпохи 40-х годов, — их повторяли революционеры позднейших десятилетий. Добролюбов, относившийся к Плещееву с большой симпатией, уважавший его как петрашевца, особенно выделял это стихотворение, находя в нем идеи и стремления лучших людей 40-х годов. Добролюбов характеризовал его как «смелый призыв, полный такой веры в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность». М. Л. Михайлов писал в «Современнике»: «С особенным удовольствием перечитали мы прекрасный гимн, известный нам наизусть, — гимн, который всегда останется прекрасной памятью скромной, но благородной литературной деятельности г. Плещеева».

Современному читателю лозунги плещеевского гимна могут показаться слишком общими и неопределенными; однако в свое время для сверстников и единомышленников поэта они наполнялись конкретным содержанием. Так, слова «любви учение» могли быть расшифрованы как учение французских социалистов-утопистов; «подвиг доблестный» означал призыв к борьбе, к общественному служению; в словах о союзе «под знаменем науки» подразумевались идейно-философские искания, столь характерные для кружков того времени.

В репертуаре вольной русской поэзии оказалось

и другое стихотворение Плещеева 1846 года — «По чувствам братья мы с тобой...», о котором говорилось выше. Неопубликованное при жизни автора, анонимно ходившее по рукам в списках, это стихотворение по духу и стилю близко к другим произведениям гражданской музыки Плещеева, и в то же время оно более радикально, более определено по своему политическому содержанию, чем гимн «Вперед! без страха и сомненья...». Именно поэтому стихотворение не могло быть напечатано при жизни автора, сам Плещеев считал его «нецензурным» и скрывал свое авторство. Характерно, что «По чувствам братья мы с тобой...» пользовалось успехом в семье Ульяновых. По свидетельствам мемуаристов, его хорошо знал и любил отец В. И. Ленина — Илья Николаевич Ульянов, кстати сказать, считавший его одной из песен Рылеева.

Поэтическое творчество Плещеева, вместе с творчеством Дурова, Пальма, сыграло свою роль в развитии русской поэзии, о которой нельзя составить полного представления без учета этих имен. Не только тематика, но и самые образы, эпитеты, все поэтические средства петрашевцев характерны для демократической поэзии 40-х годов, развивавшей традиции русской гражданской лирики. Таков у Плещеева и других петрашевцев лирический образ странника, идущий от Лермонтова, таковы аллегорические образы природы. «Песня странника», «Странник», образ пилигрима в пустыне — у Плещеева, разумеется, не случайность. «Передо мной лежит далекий скорбный

путь», — говорит поэт. Это путь общественного служения, путь испытаний и борьбы, иногда путь разочарования и усталости:

Весело выходит
Странник утром в путь;
Но под вечер дома
Рад бы отдохнуть.

*(«Песня странника».
Из Рюккерта)*

Мотив этой миниатюры перекликается с «Горными вершинами...» Лермонтова. Лермонтовскими стихами навеяны и многие другие образы у петрашевцев. Назовем тему узника, сидящего за решеткой и слушающего песню соседа по темнице (ср. стихотворение «Сосед» у Плещеева и «Сосед» у Лермонтова); эта тема нашла отражение также и в лирике Пальма («Освобожденный узник»).

В стихах А. И. Пальма вообще довольно отчетливо ощутимо влияние Лермонтова, сказавшееся и в отдельных реминисценциях, и в манере построения образа, и в художественной структуре наиболее крупного его произведения — «Сказки про царя с царевной». К Лермонтову восходят у Пальма мотивы пессимизма («Осенний день»), разочарования в человеческой жизни («Подумай, как пошел, как жалок ты, О человек» — в «Отрывке из рассказа»). С большой силой они выражены в наброске «Гляжу я на твои глубокие морщины...»:

...Зароют в яму тело,
И канет жизнь твоя, как жалкий пустоцвет,
Как нищего в суде проигранное дело!..

Эта по-лермонтовски энергичная концовка содержит образ, чуждый основной теме стихотворения, но с неожиданной силой разрешающий напряженность предыдущих строк.

Поэтическое наследие Пальма представляет интерес, ибо оно характерно для своего времени. В нем легко обнаружить основные черты поэзии петрашевцев. Здесь налицо отзвуки социалистических веяний, идущих с Запада: разрешение женского вопроса в духе жоржсандизма («Воспоминание», посвящение к «Сказке»); здесь обличение большого города с его пороками («Когда гляжу на городские зданья...»); здесь и тема пророка, отверженного толпою (то же стихотворение), причем «златые сны» этого пророка опять-таки ассоциируются с «безумцами», которые должны навеять «человечеству сон золотой». Здесь и лирический пейзаж, аллегорически истолкованный:

Видишь ли, черная туча по небу несется?
Путник, послушай, ведь завтра иль ныне
Черная туча отрадным дождем разольется.
Легче вздохнешь ты под небом палящей
пустыни... .

(«Напутное желание»)

Наконец, очень существенно обращение Пальма к народному творчеству, к фольклорным темам,

и его попытки создать на этой основе реалистические картины из крестьянской жизни. Знаменательно, что эти мотивы в лирике Пальма перекликаются с аналогичными мотивами у Пушкина и Лермонтова. Разве не лермонтовской «Родиной» навеяны следующие строки в «Русской песне» Пальма:

Встречаю весело мелькающие мимо
Березки голые, овраги, мост, ручей,
И грустно-серые, убогие избушки,
И мужичка без шапки, и плетень,
И леса синего чуть видные верхушки...

От образной картинности русских сказок, от народно-песенной стихии идут в «Сказке» Пальма многие эпитеты, сравнения, метафоры, усвоенные, впрочем, и под влиянием лермонтовской «Песни про купца Калашникова». Именно с нею сравнивали поэму Пальма в печати 40-х годов. Кроме того, Пальм написал несколько пьес в духе народных песен, весьма близких по характеру и настроению к песням Кольцова («Много горя, много дум тяжелых...»). Некоторые другие стихотворения Пальма, в которых народная тема взята еще глубже, в какой-то мере предвосхищают Некрасова. Таковы «Русские картины», где тепло изображена доля женщины-крестьянки, и стихотворение «Обоз», подкупающее простотой воплощения сюжета из крестьянской жизни.

Органическое усвоение лермонтовских влияний и интерес Пальма к народной тематике позво-

ляют отнести этого поэта-петрашевца к числу предшественников демократической поэзии 60-х годов, участвовавших в процессе формирования ее «некрасовского» стиля.

7

Д. Д. Ахшарумов не был профессиональным поэтом. Фурьерист-мечтатель, энтузиаст идеи грядущего счастья человечества, он излагал в рифмованных строках свои мечты и надежды, записывая их гвоздем на стене каземата. Много позднее Ахшарумов включил эти стихи-документы в книгу своих воспоминаний о молодости.

Его стихи интересны как вполне точное воспроизведение фурьеристских идей, волновавших участников кружка петрашевцев. В них достаточно ярко выражены и протест против социальной несправедливости, и обличение язв и пороков капиталистического города, и картины будущего счастья земли — в соответствии с учением Фурье. Одно из стихотворений Ахшарумова («Земля, несчастная земля...») является почти дословным рифмованным переложением его речи на обеде, данном петрашевцами в честь Фурье.

Стихотворение «Гора высокая, вершина чуть видна...», по словам самого автора, «выражает мрачное, экзальтированное, болезненное состояние человека, истомленного долгим одиночным заключением за стремление выйти из безобразной душевной окружающей нас общественной среды», — так

писал престарелый петрашевец в своих воспоминаниях, опубликованных в 1908 году.

В стихах Ахшарумова, далеких от художественного совершенства, мысли автора декларированы, а не воплощены в живых образах; только в стихотворении «Гора высокая, вершина чуть видна...» ощутима попытка нарисовать художественную картину.

Иной характер носит поэтическое наследие С. Ф. Дурова, по масштабу своего дарования мало в чем уступающего Плещееву. На первый взгляд может показаться, что в его стихах социальная тема звучит приглушенно: у Дурова, в самом деле, редко встречаются бунтарские мотивы и политические декларации. Известно, что друзья по кружку даже критиковали его за некоторую идейную ограниченность. И все же очевидно, что прогрессивная идеология 40-х годов нашла свое выражение в его лирике.

Большую часть творчества Дурова составляют переводы французской политической поэзии. Мы видели, какое значение имели для кружка стихи Беранже, воспевавшие утопических социалистов. Плещеев обращался к боевой гражданской поэзии Барбье, черпая в ней образы для своих произведений. Дуров посвятил себя систематическому ознакомлению публики с творчеством Виктора Гюго, Барбье и других западноевропейских поэтов, находя у них идеи и образы, близкие и понятные русским читателям. Вот почему следует рассматривать переводы Дурова как органическую часть его поэтической деятельности.

Дуров был первым в России переводчиком Барбье — поэта, пользовавшегося исключительной популярностью в России 40-х годов и позднее. По определению петрашевца А. П. Милюкова, Барбье — поэт, «выставляющий на позорище общества *гной душевных ран* его, с неумолимым проклятием к эгоизму золота, с железным словом грозной сатиры и энергическим, могучим стихом...». Именно так понимал значение своего любимого поэта и Дуров.

В переводах Дурова нашли отражение и противоречия творчества Барбье, связанные с его политическими колебаниями после июльской революции 1830 года. Наступление и победа реакции обнаружили неустойчивость Барбье: в его стихах начинают звучать мотивы пессимизма, разочарования в революции. Париж представляется поэту мрачной бездной, средоточием зла («Есть бездна на земле. Есть бездна роковая...»); обличительная сатира начинает казаться ему «безобразной», разрушающей все прекрасное («Смех»). Впрочем, подлинный смысл идейной неустойчивости Барбье вряд ли был ясен Дурову. Он представлял себе его поэзию, всегда искреннюю и страстную, более монолитной, чем она была на самом деле.

Пламенные строфы Барбье, мужественная лирика Гюго с ее гуманным сочувствием обездоленным помогали Дурову выразить собственные демократические и оппозиционные настроения. Утверждая свой идеал высокого назначения поэта, он, вслед за Барбье, рисовал суровый облик Данте, поэта-гражданина и борца. Идея освобож-

дения родины привлекала Дурова, когда он переводил «Кийю» Барбье — поэму, в которой с такой силой изображены страдания итальянского художника Сальватора Розы, изгнанного из родной страны «ненавистными пришельцами». Поэма представляет собой диалог между Розой и простым рыбаком, в котором художник видит воплощение неисчерпаемых сил, таящихся в народе («Народ всегда надежен...»).

Дуров читал перевод «Кийи» на собраниях своего кружка. Эти стихи пользовались там особым успехом именно потому, что в них шла речь о необходимости единения с народом в борьбе за свободу. Многие другие вопросы, волновавшие передовое поколение той эпохи, также находили свое отражение в переводной лирике Дурова. Таков вопрос об ответственности общества за моральное падение женщины, таково обличение паразитизма аристократии («Не насмехайтесь над падшею женой!..», «Смерть сластолюбца» В. Гюго и другие).

Поэзия Дурова в целом окрашена в пессимистические тона. Эта черта особенно отличает его оригинальные стихи, по тематике и настроению примыкающие к переводам. Для понимания творчества Дурова существенно его стихотворение «Анакреон», в котором выражен взгляд на современную поэзию; ей противопоставлена в образе Анакреона счастливая поэзия «детства человечества». Было время, когда поэзия воспевала радости жизни,

А ныне от певцов не те мы слышим звуки:
Их струны издают порывы тайной муки,
Негодование на жизнь и на судьбу,
Сомнения с истиной тяжелую борьбу,
Души расстроенной тяжелые болезни, —
Для современников полезны эти песни!..

Сам Дуров и был таким певцом, негодовавшим «на жизнь и на судьбу». Мрачная действительность крепостнической России, окружавшая поэта, не его одного заставляла проливать слезы горечи и возмущения. В 1858 году Добролюбов в статье о Плещееве писал, что мрачный тон всей русской поэзии — характерный факт, за которым большей частью скрывается «воплъ энергической, действительно сильной натуры, подавляемой гнетом враждебных обстоятельств». Дуров сам рассказал о причинах своего пессимизма:

Куда ни подойдешь, куда ни кинешь взгляд —
Везде встречаются то нищих бледный ряд,
То лица желтые вернувшихся из ссылки,
То гроб с процессией, то бедные носилки...

(«В. В. Толбину»)

Вот откуда эти ноты глубокой грусти, это разочарование в жизни, происходящее от любви к жизни и именно этим так напоминающее Лермонтова (см., например, стихотворения Дурова «Сонет», «Что в жизни, если мы не любим никого...»); вот откуда эта искренняя скорбь о бренности человеческого существования, выра-

женная в прекрасном переводе «Осеапо пох» Гюго. Гуманной любовью к человеку, обреченному на страдания в мире, где царствует несправедливость, продиктовано одно из лучших стихотворений Дурова «Когда трагический актер...», ставшее хрестоматийным. Оно несомненно родилось под воздействием лермонтовского стихотворения «Не верь себе, мечтатель молодой...», трактующего тему одиночества поэта и, кстати, снабженного эпиграфом из Барбье. Лермонтов его закончил необычайно сильным аккордом:

Поверь, для них смешон твой плач и твой укор
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным.

Образ трагического актера, только не с «мечом картонным», а в «мишурной мантии Гамлета», воплотил в своем стихотворении Дуров, выступивший в нем со смелым обличением «толпы», льющей слезы «перед фигляром» и равнодушной к общественным бедствиям.

Лирические образы поэзии Дурова, типичные для поэзии гражданской, дополняют ее характеристику. Тема странника, бредущего по миру («Странник»), листка, гонимого бурей («Листок»), тучи, мчащейся подобно изгнаннику («Туча»), — все эти поэтические аллегии, навеянные лермонтовской лирикой, подчеркивают элегический колорит стихов Дурова, придают им задумчиво-грустный оттенок:

От родной семьи изгнанник,
Ты куда несешься, странник?
Где, скажи, в краю каком
Колыбель твоя и дом?

(«Туча»)

Дожив до 60-х годов, Дуров не принял участия в поэтическом движении этой эпохи, хотя несколько его стихотворений и появилось в некраковском «Современнике» и в «Русском слове». В силу разных обстоятельств он остался в стороне от революционно-демократических течений, в то время как Плещеев сблизился даже с вождями революционной молодежи. Но тем более интересно, что именно в начале 60-х годов Дуров написал, пожалуй, единственное свое оптимистическое стихотворение («Н. Д. П<ущин>ой»), в котором звучит и вера в будущее торжество народных сил, и сознание пользы, принесенной его поколением — поколением петрашевцев, русских социалистов-утопистов 40-х годов.

Революционное движение 1840-х годов нашло разнообразное отражение в поэтическом творчестве членов кружка петрашевцев. Борьба с рутинной и обличение «света» у Баласогло, горячие призывы Плещеева в защиту угнетенных, социально-утопические мечтания Ахшарумова, отголоски народного творчества у Пальма, наконец гражданская скорбь и лирический пафос Дурова — из этих составных частей складывается

*

довольно полное представление о своеобразном и интересном явлении демократической поэзии 40-х годов. Творчество поэтов-петрашевцев, несмотря на все присущие им недостатки и противоречия, занимает свое место в истории русской гражданской лирики; оно служит связующим звеном между двумя эпохами в развитии нашей литературы, объясняя и конкретизируя переход — в «большой поэзии» — от Лермонтова к Некрасову. В этом его историко-литературное значение.

В. Жданов

А. П. БАЛАСОГЛО

Александр Пантелеймонович Баласогло родился в 1813 году в Херсоне. Его отец, обрусевший грек, был лейтенантом Черноморского флота, позднее — интендантским генералом. В 1826 году Баласогло-сын был также зачислен во флот. В 1835 году он вышел в отставку и поступил в штатскую службу. Начиная с 1840 года и до ареста по делу петрашевцев служил в главном архиве министерства иностранных дел.

С 1845 года Баласогло начал посещать «пятницы» М. В. Петрашевского и вскоре стал его близким другом. В 1848 году на одном из собраний кружка он произнес речь на тему о семейном счастье в духе идей социалистов-утопистов, а в другой раз читал отрывки из своего сочинения «Об изложении наук». В показаниях следственной комиссии по делу петрашевцев Баласогло называл себя фурьеристом. В этих обширных показаниях, названных самим подсудимым «Исповедью», Баласогло рассказывает историю своих служебных и житейских неудач, которые сделали из него «беспокойного» и «лишнего» человека, как он сам себя называл. Видимо, его недовольство окружающей действительностью и вызвало обостренный интерес к социально-утопическим теориям. Идеиные искания Баласогло были связаны первоначаль-

чально с кружком так называемых «любомудров», с увлечением журналом «Московский вестник» (1827—1829), а позднее привели его в кружок петрашевцев.

Еще в юности проявились литературные склонности Баласогло. «Одна поэзия всегда была мне ясна и понятна, — писал он в «Исповеди», — одна она составляла единственное утешение в моей горестной жизни».

К концу 30-х годов относится сближение Баласогло с семьей Вульф, известных друзей Пушкина. В этой семье он встретил сочувственное отношение к своим поэтическим опытам.

Дошедшее до нас стихотворное наследие Баласогло исчерпывается его посланием «А. Н. В<ульф>» и произведениями, включенными в сборник «Стихотворения Веронова», изданный в 1838 году. Вторая половина этой книги состояла из 33 стихотворений Баласогло, первая — из стихотворений его друга архитектора П. П. Норева (1815—1858).

Арестованный вместе с другими петрашевцами в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, Баласогло был освобожден из крепости в ноябре того же года и отправлен на службу в Олонецкую губернию, где занимался собиранием этнографических и статистических материалов. Умер он в 60-х годах.

ПРОИЦАНИЕ

Однажды, зимнею порою,
Тянулась ночь по тишине
И очи сонной пеленою
Не покрывала только мне.
Я был бессонницей размучен,
Глаза смежал и открывал, —
Вдруг слышу: «Будь благополучен!» —
Мне дух невидимый сказал.
«Кто здесь?» — могильное молчанье.
Забилось сердце у меня;
Но я, свой ужас отженя,
Свое услышал восклицанье:
«Зачем ты здесь?» — я закричал,
Желая странность эту сведать.
«Твою судьбу тебе поведать, —
Мне дух уныло провещал. —
Ты будешь жить без наслажденья,
Чтоб приносить его другим;
Но и за то без сожаленья
Ты будешь ими же гоним,
Тебе стороннего участия
Не дан врачующий бальзам;
Но все мельчайшие несчастья
Ты живо вычувствуешь сам.

Ты будешь истину с укором
И петь и молвить там и тут,
И люди общим приговором
Тебя невеждой нарекут.
За ум насмешливый врагами
Тебя судьба обременит,
Но и с немногими друзьями
Она тебя разъединит.
Среди рассеяния света
Ты будешь думать об одном;
Попросишь помощи, совета —
Тебя попотчуют вином.
Ты для людского наученья
Все муки должен испытать;
Но, чтобы радость описать,
Тебе дано воображенье.
Ты станешь холоден и тверд,
Отвергнешь светские забавы, —
И скажут: «Он несносно горд,
Он ищет странностями славы!»
Любить ты будешь горячо —
Тебя отринут хладнокровно
За то, что юное плечо
Без знака доблести чиновной.
И будет жизнь твоя тобой
В уединеньи проводима,
И ты ж, растерзанный толпой,
В ней прослывешь за нелюдима.
Ты посмеянье обретешь,
Не обретая состраданья,
И в раннем возрасте умрешь,
Воспев глупцам свои страданья.

Вот всё, что ждет тебя вдали, —
Так изрекли судьбы уставы;
Но ты все бедствия земли
Снесешь и вытерпишь — для славы!»

Умолк мой дух, и я спросил:
«Но где же слава, дух могучий?»
Он, улета, заключил:
«Твои дела и век грядущий!..»

<1838>

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

Когда в восторге обожання
Держу я гения труды
И дум и звуков сочетанья
И вдохновения следы
Глазами жадно пробегаю,
Тогда без следующих слов
Я мысль поэта постигаю,
Дивясь гармонии стихов.
Ни напряженного искусства
И ни труда не вижу в них,
Но будто собственные чувства
Мне выражает каждый стих.
Как будто эти ощущенья
Я испытал в забытом сне,
И дар такого ж вдохновенья
Таился, кажется, во мне;
В воображение порою
Рвался неясною мечтою,
И вдруг в творении чужом
Предстал пред очи так неожиданно,
Как идеал мой, бывший сном,
В чертах лица моей желанной.
Я рад, но что-то в сердце... Пусть
Предаст, что в нем, мой вздох
невольный:

Соревнованье или грусть
Души, собою недовольной.
И лишь пройдет восторга миг,
Я говорю: скажи мне, гений,
Как ты добился вдохновений,
Как выраженья ты достиг?
Я рвусь, я жажду знать, тоскую,
Чем тайны собственной души,
В досуг отшельничьей тиши,
В сознании вымучить могу я?
Как цепкой мыслью их схватить,
Обрисовать в словах удачных
И эту горечь истин мрачных
Гармонией слога усладить?
Скажи, скажи мне, жрец-учитель,
Какою силой ты мучитель
И ты ж лелеятель сердец?..

На вопль моления наконец
Ко мне слетает чуждый гений,
И я дрожу от наставлений.

Но если вялые стихи,
Живые четки рифм и точек,
Пытают душу за грехи
Всей пустотой бессвязных строчек;
Когда в наборе грозных строф,
Фаланг бессильной уж идеи,
Литературные пигмеи
Громят мой ум всем громом слов;
Иль хочет добренький бездушник
Уверить всех, что он поет,

Когда лишь точит он, баклушник,
Истертым <образом> киот
И пялит в раму романтизма
Свои альбомные мечты,
Смесь откровений эгоизма
И фраз глубокой темноты, —
Я говорю тогда: «Тебе ли
Жезлом пророка жечь сердца!
Не зароятся в колыбели
Рои фантазий мудреца.
В твоей груди не клокотала
Геенна огненных страстей
И, истонавшаяся, в ней
Душа, варясь, не хохотала.
Ты не был горд самим собой,
Не испытал униженья;
Ни за какие наслажденья
Не шел бороться ты с судьбой.
Не выбрав цели ни малейшей,
Хоть низость ползала твоя,
Не тряс ты цепью бытия
Пред спесью низости знатнейшей.
Горячка чувств тебе смешна,
И в сне ума непостижимо,
Как сердцу пылкому тошна
Холодность черни недвижимой.
Ты так не видишь, почему
Содом неправд не рай уму,
Содом с богатствами, честями
И с их наивными глупцами!
Ты не поймешь, — и где понять
Ушам бродящего арфиста

Ужасный грех — не чисто взять —
И раздражительность артиста.
А смеешь брать, простой раб нужд,
Шарманщик в пиршествах порока,
И тон идей, которых чужд,
И арфу вольного пророка!..»

Я негодную. Но едва
Иссякнет ток негодованья,
Во мне уж грусть самосознания,
Куда я сам стремлюсь? Молва
Грозит и мне перстом молчанья!
И, может быть, уже давно
Меня такую же тирадой
Убил другой иль — всё равно, —
Не тронув, сжег своей пощадой.
И я, творец простой чухи,
Я точно так же сам ничтожен,
Как тот, кому мои стихи
Придут по мысли, — факт возможен!..
Я вижу, вижу: я ль не прав?
Я ль пустозвучен в изложении?..
Но горд и мнителен мой нрав —
И я грущу в уничиженьи.

РАЗДЕЛ

Вам жизнь, вам бал, о дети суеты,
Вам люстры свеч, вам яркие наряды,
Оркестр смычков, сиянье красоты,
И запах роз, и вальс, и галопады.
Вам до утра кружиться в вихре игр
И отдыхать в объятьях тихой неги, —
Мне — мысль и мир; я в вашей клетке тигр,
Я рвусь от вас в далекие набеги!

Ваш слух в ногах; мне ж слышен у окна
Унылый вой осенней непогоды, —
И я не там, где, ярая, она
Бунтует лес, бичует в пену воды!..
Вы вечно все, где ваша суета,
Где сад иль зал, где весело и много,
Где тонет ум, щебечет острога,
Ханжит разврат, приличье смотрит строго.
А я — туда, где мир и нем и пуст,
Бреду один, под гулкий свод развалин,
Куда в окно заглядывает куст
И Феб то скрыт, то блещет из прогалин;
Туда, где спит мятежный океан
Под сенью туч, нависших балдахинном;

Где, как пророк, бушует ураган
И стонет хлябь, как чернь под исполином;
Где я стыжусь, когда в ночной тиши
Всё небо звезд глядит в ручей со мною,
Что я искал для взора и души
Лазурь очей, звездащихся душою! ..

Я вам не друг; скорей я друг ручья:
Он не мирит ласкательством небрежным
С умом толпы, с задачей бытия;
Он сам журчит роптаньем

безнадежным.

Я друг всему, что дышит и болит,
Меняя вид в однообразном ходе;
Что о былом безмолвно говорит,
Что знак уму, что мысль в живой природе.
Но вам — я чужд. Возьмите жизнь
и бал! ..

Моя же мысль несется в глушь скитанья,
Ей душный гроб — набитый вами зал,
И вечный пир — в чертоге мирозданья.

<1838>

ГЕНИЙ

Долго в стаде одичалом,
Без державной головы,
Бродит с новым идеалом
Новый двигатель молвы.
Долго дядьки-самозванцы,
Злясь с блажным учеником,
Давят ум в нем — иностранцы —
Иностранным клобуком.
Долго юношу-гиганта
Девы ловят в мишуру,
В рамки чопорного франта,
В скоморохи на пиру;
Долго страсти в нем щекочет
И, бессмыслием горда,
Долго свищет и хохочет
Косоглазая орда.

Но, воспитанник лишений,
Господин своих страстей,
Разорвет свободный гений
Паутину всех сетей.
Разобиженный ханжами,
Сбросил он с ума клобук;

Лавр, развитый врознь с цветами,
Сжег на светоче наук.
Проклял он мечты и факты,
Мир и всё, что в нем берег.
Прочь изъезженные тракты
Вдоль, и вкось, и поперек!
Степью, тундрой, океаном,
Дикой новью, целиком
Он промчится ураганом
И поставит мир вверх дном.
Он уймет негодование
На забавный этот мир,
Где хаосу пресмыканье
Лепит — жалкое — кумир.
Он постиг порядок новый...
И — дрожа в душе своей —
Он, восторженник суровый,
Только там вздохнет вольней,
Где он станет полубогом
На всемирный пьедестал,
Водрузив в законе строгом
Свой нетленный идеал,

А. Н. В(УЛЬФ)

Я был тогда еще ребенок
И в городке глухих невежд
Вертел, угрюмый дикаренко,
Калейдоскоп своих надежд;
Когда, гуляя да мечтая,
Я вдруг подслушал у молвы,
Что есть поэт Бахчисарая,
Кавказ, Тригорское и вы.
О, как я бросился в расспросы,
Как стал просить, искать стихов!
И вот на жаркие упросы
Мне сдал журналы весь Тучков.
Тогда всходил «Московский вестник»
Витией славы на амвон
И «Телеграф», его совместник,
Еще был молод и учен.
Тогда еще жужжала скромно
Свои суждения «Пчела»,
Злой «Инвалид» хромал бездомно,
Сбираясь бить из-за угла,
И, вероятно, строя куры
Всему Парнасу наших муз,
Учил афишечный наш вкус
Ждать «Новостей литературы».

И много было всех имен
В ту благодатную годину:
О многих нет уж и помину,
Другие ждут иных времен.
Что до меня, в то время славы
Я привязался всей душой
К Москве и к «Вестнику»; но нравы
Уж там не те, и я другой.
Тогда не то: там был властитель
Всех дум России, всех сердец,
Мой дальний идол, мой учитель,
Он, незабвенный ваш певец!
Он, светозарный ум народа!
Несоблазнимый бич толпы,
Могучий гений перехода
С одной тропы на все тропы!
Он, дикий вопль, смягченный думой,
Высокий гимн в чаду пиров,
С душой то страстной, то угрюмой,
И с дивной музыкой стихов.
Каким обдуманном призваньем
Сияла мысль его чела!
Каким уверенным шаганьем
Он шел, сознав, что Русь пошла!
Как волновал он силой звуков
Всё поколение вперед,
И сколько нас, и сколько внуков
Еще он двинет в новый ход!
Я упивался одиноко
Его тиртеевским умом,
Когда безгранно и глубоко
Страдал и жил его стихом.

То умиление молитвы,
То необузданность любви,
То гвалт пиров, то клики битвы
Рождали жар в моей крови.
Я весь дрожал, не чуя сердца,
И замирала голова,
Когда объяли нововерца
Его волшебные слова.
В моих глазах рябило счастьем,
Приятно-сладостным вдали,
Мир цвел несбыточным участием,
Кивала другом чернь земли.
В ушах органно выли шумы,
Трещали трубы, я скакал...
И всё-то песни, всё-то думы
Я пел, и слушал, и слагал.
О, было время, гимн пророка
Творил пророка из меня,
Душа стонала без упрека,
И я, горя, молил огня.
Но что ж? — Влюбленный в этот «Вестник»,
Приют их всех, его родни,
Я стал их друг, их брат-ровесник,
И вот я здесь — а где они?
Где мой волшебник, мой Языков,
С разгульной чашей, с красотой,
С цевницей песен, с пиром кликов,
С своей тригорскою душой?
Где Веневитинов? — Угрюмец,
Философ жизни в двадцать лет,
Он, сирий в мире вольнодумец,
Осиротивший мир и свет!

Где грустный демон Подолинский,
С глухим гудением стиха?..
Где Баратынский — Баратынский,
Ум, падший ангел без греха!
Где Хомяков, младенец веры,
С живой мелодиею строф?
Где русский Мур ирландской сферы,
Всегда задумчивый Козлов?
Где Ознобишин, мой восточник,
Игривый, страстный, полный сил?
Где этот Дельвиг, полуночник?..
Увы, как много уж могил!..

Давно ль они горели славой,
Гордились гением-вождем
И все рвались душою-лавой
«Промчатся с громом и огнем!»
Давно ли хлынул в мир широко
Их целый Нил — за валом вал, —
Животворя всю Русь далеко —
От финских и до крымских скал?
Давно ль, гремя в стране-равнине,
Их хор в ней поднял эхо-стон,
Еще стоящий и поныне,
Когда их песнь едва ль не сон?..
И вот их нет. Учитель умер,
И школа тихо разошлась.
Журналы пали: каждый номер
Сбывает нагло желчь и грязь.
Литература стала рынок,
Где всё продажно — ум и яд,

Позор фигляров, гуд волынок
И вой раздавленных ребят.
За тьмой возов не видно храмов,
А вместо гимнов и молитв
Стоит содом от буйных хамов
И сплошь азарт кулачных битв!..

Теперь я понял превосходно
Ту раздражительную грусть,
Какой дышал он благородно,
Учимый Русью наизусть.
Вот он зачем, вплетаясь в братство
К паркетной черни, целый век
Ценил в душе аристократство,
Хоть был и русский человек.
Его рассудку было стыдно
Тонуть в ничтожестве певцов,
Ему убийственно-обидно
Казалось братство гаеров.
Он боязливо ненавидел
Нагое равенство людей,
И в мышцах гадов гений видел
Всю нищету своих идей.
Спасая честь своей особы
От пятен давки без борьбы,
Когда вокруг медузы злобы, —
Один эгид — свои рабы.
Но мог ли б он, дитя свободы,
Скликать готовых в кабалу? —
Он, воплощенный гнев природы
На скопы рабствующих злу!
И вот ему осталось средство —

Исчезть в толпу друзей на *вы*,
Чтоб сохранить и мысль и детство
Уже лавровой головы.
И выбрал он, брезгливый к стаду,
Сноснейший омут для души,
Где ум кружится до упаду,
Мотая жизнь и барыши.
И где, чтоб слыть за человека,
Должно, за скудостью ума,
Веществовать, по вопросам века,
В гремушках общего ярма.
И тут, конечно, зверь на звере —
Везде один и тот же сброд!
Но тут не гурт, по крайней мере,
Не брот-гелертерский приход.
Он подчинится всем затеям
Семьи досужей и пустой,
Не даст стиха своим идеям,
Засыплет едких остротой;
Обманет праздность пиროваньем
В гурьбе изяшных объедал
И безотдушным прозябаньем
Сойдется с выскочками зал.
Он будет биться всем досугом
С ареной «тигров», спесь на спесь,
И победит врагом и другом
Их бесхарактерную смесь.
Он овладеет их хандрою
И, раб их вычур и одежд,
Восстанет думной головою
В высоком мнении невежд.
И если так, и план свершится,

Тогда — в то время — о, тогда
Ему вся масса подчинится,
Вся золотая их орда!
Он пробичует их жестоко
Одним властительным стихом,
И воспоеет тогда широко
И жизнь, и мир, и Русь с Петром,
Амвон гостиного вниманья
Обстанет Русь богатырей,
И прогремят его воззванья
До европейских дикарей...

Но он погиб. Борьба со светом —
Недолго чистая борьба...
Остался б просто он поэтом
Вдали, в глуши... Судьба! Судьба!
Какие жертвы ни приносит
Всеобщей жизни человек,
Его не ждет, его не просит,
Его отталкивает век.
Найти свой рок в простом повесе!..
Но это волки, это лес,
И есть всегда в подобном лесе
Свой Равельяк и свой Дантес.
Убийца был простой образчик
Тех отвратительных начал,
К которым трость и полуплащик
Так чудно идут в куклах зал.
Россия выставила гений,
Они — Европа на Руси,
Арена диких вожделений —
Слепили крест: возьми, неси!

Поэт поднял и нес достойно,
Пока мальчишка, в свой черед,
Не вздумал тешиться, спокойно
Ища над гением острот,
И он нашел. Поэт поддался,
Толпа захлопала — ура!!!
«Попался умник! Что? попался?
Шабаш! пора шута с двора!»
Что оставалось тут поэту?
Просить, унизиться, снести?
Сойти со сцены? Сдаться свету
На мудро начатом пути?
Пропасть в толпу, в толкучий рынок,
На посмеяние рабам?..
Нет, поединок! поединок!
Стереть обидчика и срам!
Они стрелялись. Где? — в Европе!
Стал ярый гений — стал глупец.
Есть смерть в угаре, есть в утопе,
И есть надежда на свинец.
Судьба решит, кто ей дороже:
Глупец иль гений. Раз-два-три!..
Кого же нет?.. О боже, боже!
Он жив, он жив лишь до зари.
Зачем, зачем они хоронят
Его столь пышным большинством:
Его уж ниже не уронят
И не подымут торжеством.
Зачем идут в широких шляпах
Факелоносцы в два ряда?
К чему огни в презренных лапах?
Погашена его звезда.

Зачем так медленно ступает
Хор этих певчих?.. Ноты... флер...
О, как мне душу раздирает
Печальным воем этот хор!
Зачем идут они с крестами?
Не воскресить его, отцы!
«Молите господу сердцами!
Молитесь, братия-слепцы!»
Зачем под черные попоны
Впрягли так много лошадей?
Пусть ездят цугом на поклоны
Да давят этаких людей.
К чему на этом катафалке
Стоит такой богатый гроб?
Его богатство было в палке,
Которой гений бил особ.
Зачем в мундирах, в звездах, в лентах
Идет пешком вся эта знать?
Ей ни в стихах, ни в монументах
Себя пред ним не оправдать.
На что в плерезах эти розы?
О лица женщин, это вы.
К чему, к чему все эти слезы!
Не переплакать вам молвы.
Зачем терзает так размерно
Глухая музыка толпу?
Всё переходно, всё неверно!
Мы все к могиле бьем тропу.
Зачем... Но тихо и прощально
Проходит шествие певца,
И сзади тянется печально
Ряд экипажей без конца.

Все тротуары, окна, крыши,
Вся мостовая — всё глаза;
И, мнится, в гнездах нет и мыши
И у жандармов есть слеза.

О, больно, больно. Сердце колет,
И давит душу вздох от слез.
Вот уж три года; но и сто лет
Не снимет Русь своих плерез.
Неужто он, наш гимн, наш гений,
Убит, отпет и схоронен?
Что скажут веки поколений?
Кем мог бы быть он заменен?
Неужто общая могила
Его, как землю, приняла?
И эта чернь не оживила
Его потухшего чела?
Когда с последним целованьем
Кидались тысячи на труп,
Зачем мольбой, зачем взываньем
Не отворили вещей губ!
Зачем дыханье, вопли, голос
И всемогущий взрыд жены
Не встрепенули хоть бы волос
На голове, забывшей сны!
Зачем ясины, розы, мирты
Не разбудили в теле дух!
И даже мускус, даже спирты
Не привели души в испуг?
Зачем не двинул он хоть бровью,
Не дрогнул жилкою руки,

Когда весь мир с такой любовью
Вкруг задыхался от тоски!
Зачем не встал он, ум бесценный,
И не сказал, смеясь, друзьям,
Что он для шутки, несравненный,
Был бледен, холоден и прям! . .

Увы, задержанные слезы
Не полились у всех ручьем,
Не расцвели зимою розы,
И не вздохнул он бытием!
Друзья стояли молчаливо,
Народ ходил, смотрел, шептал,
Студенты тискались ревниво,
А труп лежал и всё лежал.

О, почему ж тогда природа
Не собрала всех лучших сил
И этот вопль всего народа
Ее ума не умолил!
Зачем лежал он бездыханно,
Случайный гений этих душ,
Оставив всех, и так неожиданно,
Один поэт, боец и муж!
Его души не растревожил
Ни вздох, ни клик, ни плач людей:
Он умер, — умер и не ожил,
Недодал миру всех идей!
И вот печально и забвенно
Живет без гения страна:
Умы торгуются презренно,
И песнь с певцами поправа.

Его далекая гробница
Одна святыня для души,
И ездит мыслить вся столица
В ее задумчивой глуши.
На белый мрамор каплют слезы,
Угрюмо ум вперяет взор,
И по челу мелькают грезы,
Как тень от облака меж гор.

И может быть, что Русь в печали
Нагрезит миру сонм голов,
Какие вряд существовали
Отрадной гордостью веков.
Восстанут, может быть, такие
Своенородные умы,
Которых гимнами впервые
Подыдем голову и мы.
Многоученная Европа,
Конечно, права между тем:
Мы прозябали вне окопа
Всех политических систем.
Ее искусства и науки
Цвели без нас и не для нас;
Рим передал не в наши руки
Останки свитков, вилл и ваз.
Не нам, не нам — ее народам
Да будет слава и позор,
Что, в торжестве чужим невздам,
Они валят к нам весь свой сор.
Но мы из этого же сора
Всё извлечем, всё разберем

И бурей, жаждущей простора,
Весь мир целебно обожжем.

Конечно, Русь и не вносила
Своих богов в их пантеон,
Одна ее крутая сила
Вставала пугалом племен.
Но, может быть, не так мы дики,
Как величает нас Париж,
И наши воинские клики
Не всё, чем бредит их вертиж.
Придет пора — и я уверен,
Что после Пушкина уж нам
Не так отчаян и безмерен
Шаг к их всемирным образцам.
Что́ был он, в самом деле, в мире,
Который он же нам открыл,
Как не отзыв на русской лире
Тому, что Запад пел и выл?
Как не последний отголосок,
Которым русская душа
Сдалась, их «буйный недоносок»,
На песнь народа-торгаша?
Лорд Байрон был певец страданья
О том, что мир так зло нечист,
Глубокий вопль самосознанья,
Что человек есть эгоист.
Но человек не англичанин:
Он и торгаш и людоед,
Однако ж был у них же Каннин,
У них же был и сам поэт.

Россия приняла стихии
Всей европейской кутерьмы.
И вот явился и в России
Такой же Байрон на умы.
Но он, высокий обожатель
Всемирно первого певца,
Не как невольный подражатель
Достиг народного венца.
Он тем велик, что, совпадая
С печалью английской души,
Постиг мечту родного края
И огласил ее в глуши.
Что пел Державин одиноко,
Что Ломоносов сознавал,
То Пушкин выстрадал глубоко
И пред Европой отстоял.
Придет пора, и будут люди.
Он оправдается, зачем,
Едва раскрыв для песен груди,
Он чуть не смолк было совсем.
Никто не чувствовал в то время,
Когда он думал и не пел,
Какое тягостное бремя
Судьба дала ему в удел.
Его разрозненная школа
Едва ли знает и сама,
Что романтизм его раскола
Был гимн не русского ума.
Один Языков, может статья,
Как выраженье сам себя,
Учась, студентствуя, любя,
Умел по-русски выражаться;

И, может быть, еще досель
Не перестал в странах ученых
Учиться просто у мудреных,
Не лытаясь на гниль и скороспелъ.
Они, сознав свои дороги,
Одни хотели и могли,
Ища в учении помощи,
Открыть, где клад родной земли.
И вот зачем умолкли оба,
И уж один, как Русь ни плачь,
Не запоет теперь из гроба,
Как пел меж бурь и неудач.
Ей остается лишь надежда,
Что он дал всем такой толчок,
Что и всеведа и невежда
Дадут грядущему оброк
И, исполняя религиозно
Заветы гения, страна
Сознает рано или поздно
Идею собственного сна.

Я говорю, что мир восплещет,
Когда мы ринемся в него,
Когда в нем молнией заблещет
Штык примирителей всего.
Когда вторым Наполеоном
Мы их рассудим и уйдем
И этот мир, объятый стоном,
Одушевим своим умом, —
Тогда опять замыслит здраво
Одной идеей целый свет

И, оцененный величаво,
Восстанет в лаврах наш поэт.

Благословенно же то время,
Когда он жил и процветал!
Благословим же род и племя,
К которым он принадлежал!
Блажен тот взор, который видел
Его разумные черты,
Который светски не обидел
Его высокой простоты.
Блажен, кому еще сдается,
В уединеньи и в шуму,
Что будто голос раздается,
Знакомый чувству и уму.
Блажен, кто понял в человеке
Его достоинство и нрав
И, полюбив в библиотеке,
Не разлюбил в пылу забав;
Чья, может статья, симпатія
Дышала розами певцу,
Иль чьих советов энергія
Крепила силы мудрецу.
Но — вы несказанно блаженней,
Ценя его нежнее всех:
Вам жить, что миг, благословенней,
Вам что ни час, то сто утех!
Кто облегчал ему гоненье,
Кто говорил ему: живи!
Когда постигло заточенье
Любимца славы и любви,

Кто умирял его роптанья,
Пред кем он праздновал душой?
Ум одинокого страданья,
Не разумеемый толпой!
Кто извинял его ошибки,
Причуды гения в борьбе,
И всемогуществом улыбки
Мирил певца к его судьбе?
Кто приводил всё это в действие,
Не ждя ни лести, ни молвы?
Не ваше ль милое семейство,
Не вы ли сами? — Сто раз вы!
Примите ж вы за ваши чувства
Мой недостойный фимиам!
Когда б он жив был, жрец искусства,
Не я, а он кадил бы вам.
Но так как он уж нас оставил,
Примите жертву от меня:
И я пока живу для правил,
Для Прометеева огня.
Я не наискивался с лестью,
Я слишком дико горд умом, —
Но всей оказанной мне честью
Я сделан вашим должником.
И что скрывать: я рад глубоко,
Что мне судьба моя сама
Дает гордиться одиноко
Вниманьем вашего ума.
Приемом темного счастливец
В тот самый круг, где вхож был он,
Вы ободрили горделивца
На весь его душевный сон.

Мои ценители в особах,
Дававших гению приют!
Мой бедный дар, убитый в пробах,
Освистан всюду, но не тут!
Я тут, где лучшая оценка
Всегда была его трудам, —
И нет искусного оттенка
Моим презренным судиям!
И мог ли думать я, читая
Тринадцать лет тому назад,
Под говор мутного Дуная,
О силе соротских наяд,
О жаре в полдень, летней буре,
Закате солнца и о том,
Как воз <тот>, чудо по фигуре,
Считает бревна колесом, —
Что в захолустье черноморском,
Узнав про Сороть и Неву,
Сойдусь, мечтатель о Тригорском,
С его жильцами наяву!..

О, пусть слепая воля рока
Меня с певцами развела,
Пусть не увижу, как Востока,
Я меценатного села,
Но я узнал, кого там пели
Они, высокие, — и мне
Отрадно вторить на свирели
Их гимну, вечному вдвойне.
Я вижу вас в кругу всех ваших
И, ум опальной головы,

Пою без лир их, пью без чаш их,
Да мирно здравствуете вы!
Да улыбается вам счастье,
Как ваша милая семья,
И да найдется беспристрастье,
Чтоб было строже к вам, чем я.
А я давно благословляю
Свою бесцветную судьбу,
Что я хоть изредка выдаю
Тех, кто постиг мою борьбу.
И что, гонявшись так напрасно
За тем, кого теперь — увы! —
Уж и оплакивать опасно,
Я очутился там, где вы:
Где есть ценящие в столице —
По виду русской — русский ум;
Где мнится мне, хоть он в гробнице,
Его приходом всякий шум;
Где мысль его авторитета
Цветет живей его письмен
И где бессмертный лавр поэта
Уж обнял буквы всех имен.

8 февраля 1840

А. И. ПАЛЬМ

Александр Иванович Пальм родился в 1822 году в городке Краснослободске Пензенской губернии, в семье лесничего. Его мать была крепостной. В 1842 году Пальм поступил в Гвардейский егерский полк (в Петербурге), где дослужился до чина поручика.

С Петрашевским он познакомился в августе 1847 года и с тех пор стал посещать его «пятницы». На следствии он заявил, что прежде «не имел никакого понятия о социализме и либерализме... Понятием о социализме обязан Петрашевскому... и социальные идеи, как новость... нравились». Пальм посещал и собрания у петрашевца Н. А. Спешнева, где присутствовал при чтении Н. П. Григорьевым агитационного документа, известного под названием «Солдатская беседа». Во время следствия его обвиняли также в том, что он присутствовал при чтении «преступного письма» Белинского к Гоголю.

Пальм был в близкой дружбе с петрашевцем С. Ф. Дуровым. Историю своего знакомства с ним он рассказал позднее в романе «Алексей Слободин» (1873), где вывел самого себя под именем Андриуши Морица, «восторженного почитателя Жорж Санд», а Дурова — под именем

Рудковского. Автобиографическими чертами отмечен и образ главного героя романа Алексея Слободина. В романе дана живая характеристика виднейших представителей кружка петрашевцев.

Поэзия не занимала большого места в жизни Пальма. Выступив в печати со своими стихотворениями в 1843 году, сразу по выходе из военного учебного заведения, он после 1847 года публиковал только прозаические произведения. Федор Кони, бывший одним из преподавателей в Дворянском полку, где учился Пальм, напечатал его стихотворения в «Литературной газете», и тут же приветствовал «весьма замечательное дарование» нового поэта, отметив, что в его стихах много теплоты, «много простоты в изложении».

Почти все стихотворения Пальма опубликованы в «Литературной газете», «Иллюстрации» и альманахах 40-х годов. Его роман «Алексей Слободин» выдержал несколько изданий (последнее выпущено в 1931 году).

Арестованный вместе с другими петрашевцами в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, Пальм был приговорен к «смертной казни расстрелянием», но ввиду принесенного раскаяния «в недобудуманных поступках» был помилован и приговорен к переводу из гвардии в армию. Умер Пальм в 1885 году.

ОПУСТЕЛЫЙ ДОМ

Плыву по взморию в часы безмолвной ночи,
Струистый след ладьи подернут серебром;
На темном берегу давно забытый дом
Всегда приветливо мои встречают очи.
Люблю беседовать с сим хладным мертвецом,
Любуюся его нестройною громадой,
Балконом, портиком, тяжелой колоннадой
И львами, спящими над рухнувшим крыльцом.
Когда-то дом роскошно красовался
Огнями, музыкой и говором речей.
Какой пловец тобою любовался,
Завидуя в душе уделу богачей?
В сих окнах легкие тогда мелькали тени,
И блестками ума, любезностью живой
Кого пленял тогда красавец молодой?
Не мучил ли кого насмешки злобный гений?..
И что ж теперь, скажи, в далекие ль края
Судьбой заброшены безвестные нам лица,
Иль грустно прервана их повести страница?
И отчего, скажи, покинули тебя?
Погас ли ясный взор хозяйки благосклонной,
Очаровательной царицы прежних мод...
Но безответен ты; как сторож полусонный,
Задумчиво стоишь у лона тихих вод.

И на душе моей, утратами убитой,
Всё пусто, всё темно, — и не воскреснет вновь
Ни радость прежняя, ни прежняя любовь —
Порывы юности, так рано позабытой!
И ежели порой в истерзанную грудь
Невольно западут бывшие впечатленья,
Мне станет тяжело, я жажду отдохнуть,
И сердце просится в приют уединенья!
И молчалив я стал, и думами богат,
Как ты, пустынный дом, печальный мой собрат!

<1843>

* * *

Много горя, много дум тяжелых
На моей душе лежит глубоко;
С малых лет спознался я с печалью
И побрел один путем-дорогой...
Да кому какое дело; всякий
От моей печали отвернется;
Любят люди ясную погоду,
А кому приглянется ненастье!

Как-то раз, весной, денек был теплый,
Зелень легкая поля одела.
Кто-то руку подал мне и взглядом
Братским отогрел мне сердце...
Он был сладок... скоро я проснулся,
И вокруг меня, как прежде, пусто!
Ах, забыть и сон пустой пора бы,
Только к сердцу привилось воспоминанье,
Словно пестрый мотылек к цветочку:
Крылышки его уж облетели,
Изнемог он, борется со смертью,
А цветка родного всё не кинет...

<1843>

ОСВОБОЖДЕННЫЙ УЗНИК

Снова я на свободе; полнее вздохнуть,
Больше воздуха просит усталая грудь.

Я и весел и свеж, — а давно ли
В безотрадной томился неволе;

А давно ль я всё думал: вот идут за мной...
Да мурлыкал мне песни сосед за стеной...

После всё расскажу вам от скуки;
От цепей отдохнули бы руки.

Нет, не выдал я вас, и с неробким челом
Безответен стоял перед грозным судом!

Но, друзья мои, если б вы знали,
Как они меня тяжело пытали...

Я как камень молчал, — а вверху надо мной
Сквозь решетку окна яркий луч золотой

Проливала младая денница —
И светила на мрачные лица...

Я взглянул на окно, я припомнил о вас,
Что друзья не забудут условленный час!..

И теперь, на веселом просторе,
Мы размыкаем старое горе!

Где мой конь?.. Полететь бы хотелось скорей,
Повидаться с одною знакомкой моей:

Что она — весела иль уныла,
Иль меня равнодушно забыла?..

<1844>

А. Ф. Д — У

Не вверяйся, друг мой, счастью.
Счастье — ветер переменный.
Не вверяйся клятвам страстным,
Клятвы так обыкновенны.

Свежих чувств живые искры
Не растрчивай напрасно.
Верь, дается нам немного
Дней безоблачных и ясных.

В битве жизни ты увидишь
Мало витязей отважных;
Мы вперед идем беспечно,
Оглянуться только страшно...

<1844>

ЦЫГАНКЕ

Утомлен давно я скукой праздной;
Просит жизни дух тревожный мой, —
И в степи сухой, однообразной
Полюбил я табор кочевой.

Я люблю под серую палаткой
Разговор ленивый и прямой;
На траве до утра спится сладко, —
Тихо блещут звезды надо мной.

Ночь. Костры пылают прихотливо;
Осветились резкие черты —
Предо мной так долго-молчаливо
Для чего остановилась ты?..

Не гляди мне в очи так лукаво...
Знаю всё, о чем гадаешь ты...
Нестерпим твой взор, цыганка, право,
Будит он все старые мечты!..

Нет, молчи: пророчества пустого
Мне смешон ребяческий язык —
Для меня грядущее не ново!
Уж давно я веровать отвык...

О былом рассказывать напрасно, —
Этот вздор меня не веселит...
Много бурь и много дней прекрасных
Глубоко и вечно в сердце спит.

И страстей былых речам мятежным
Я внимаю молча; так порой
Внемлет мать ребенка ласкам нежным
И бог весть о чем скорбит душой.

<1844>

НАПУТНОЕ ЖЕЛАНИЕ

Ты еще молод; а знаешь, дорогою трудной
Долго скитаться тебе; много-много
Встретится горя, тревог и тоски безрассудной...
Будь непреклонен в борьбе непощадной и строгой.

Видишь ли, черная туча по небу несется?
Путник, послушай, ведь завтра иль ныне
Черная туча отрадным дождем разольется.
Легче вздохнешь ты под небом палящей пустыни...

< 1844 >

* * *

Посв. В. Г. Бенедиктову

Когда гляжу на городские зданья,
Мечте одной тогда я отдан весь:
Ведь здесь живут все страсти, все желанья —
Добра и зла комическая смесь!..
И сколько тут неведомых уроков,
Как много драм с развязкой роковой,
И мрачных дел под тайною немой,
И прошлого болезненных упреков...
И вместе всё — какой-то пёстрый хлам
Насмешливых и горьких эпиграмм!..

И если кто перстом небес отмечен,
Кто властелин могучих, полных дум, —
Что ж, разве он в толпе людей замечен?
Что ж, перед ним затихнет этот шум?..
Как памятник когда-то громкой славы,
Покойно-горд, как вековой гранит, —
Он на толпу с сознанием глядит,
На почести у ней не просит права!..
А между тем его золотые сны
Не этой ли толпе посвящены...
<1844>

* * *

Гляжу я на твои глубокие морщины,
На взор полупотухший твой, —
И прежних лет твоих забытые кручины
Невольно оживают предо мной.

Быть может, всем за счастья миг единый
Ты поплатился с строгою судьбой...
И ты не сетуешь на ранние седины,
И с гордостью глядишь на век протекший
твой...

А может быть, с душою очерствелой,
Чуждаясь теплых чувств, бояся думы смелой,
Рабом ничтожным шел ты с юношеских лет;

Добрел до гроба; что ж, зароят в яму тело,
И канет жизнь твоя, как жалкий пустоцвет,
Как нищего в суде проигранное дело!..

<1845>

РУССКИЕ КАРТИНЫ

Зимней ночью в избушке лучина горит
Да жена молодая за пряжей сидит;
Запоет ли она — словно плачет о чем...
И вдруг смолкнет, сидит, подпершись кулаком.
А всё спит, только вьюга шумит на дворе,
Да лучина трещит, да петух запоет на заре,
Да мальчишки на печке храпят, да сверчок
Не уймется. О чем ты грустишь? Али старший
сын

Твой на службу пошел, аль работа трудна,
Али мачеха зла, аль изба холодна?..
А вот к утру приедет, браниться начнет
Муж лихой; где гулял он всю ночь напролет —
И спросить не посмеешь!.. И тихо опять
Запоет она; слов невозможно понять,
Только тянутся звуки. И даст она волю слезам,
И глаза поведет в уголок к образам...

<1845>

РУССКАЯ ПЕСНЯ

Не шуми ты, мать зеленая дубровушка!

Усталый от забот, от взглядов осторожных,
От светской умной лжи, от приторных услуг,
Друзей докучливых или врагов ничтожных
И, позабыв борьбу в груди стесненных мук, —
Отрадно я лечу в мой уголок родимый;
С забвением гляжу на вольный бег коней,
Встречаю весело мелькающие мимо
Березки голые, овраги, мост, ручей,
И грустно-серые убогие избушки,
И мужичка без шапки, и плетень,
И леса синего чуть видные верхушки,
И сумерек густеющую тень.

С полей уснувших свежестью ночью
Повеяло; во мраке тонет взгляд;
И тучки носятся внимающей толпою
Вокруг луны, и звездочки глядят.
Чу, — звуки... что это? Эх, песенка родная!..
Так за душу и тянет... С малых дней
На думу каждую я слышал отклик в ней,
И тосковал, ее тоске внимая...
На Волге ль под грозой ты, песня, сложена?

Иль под разгул широкого веселья?
Ты с беззаветною ль отвагою дружна?
Или с тоской тяжелого похмелья?

Ты русской, бойкою задумана душой, —
Страдания, тоска, обида, плач разлуки,
Разгульной доле вечный упокой,
Насмешка над судьбой и жизнью... всё
ты в звуки

Пёрелила. И мóлодец лхой,
Сдружася с ночкою, один в глухую пору
Ту песню затянул назло судьбе самой,
Назлю грозящему людскому приговору...
И в этот чудный миг ему всё решено!
Под шумным говором приветливой дубровы
Полегче на сердце, — а после всё равно...

.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Сырое утро; дождь едва стучит в окно;
Дорога желтыми усыпана листьями.

Не видно неба, — всё кругом оно
Косматыми закрыто облаками...
И болен я с природой заодно.

Глядеть кругом и скучно и досадно,
И злорадная странная тревожит, давит грудь;
Встречаешь всё насмешкой беспощадной,
В прошедшее не хочешь заглянуть,
А стало бы хоть смешно, коль не отрадно...

Вот полка книг — надёжный, верный друг;
Но — хочешь ты труда, а дремлет ум
ленивый,
А взор скользит — и книга выпала из рук.
И некуда лететь мечте нетерпеливой...
И непонятен мне родимой песни звук...

Так время тянется несносно до обеда:
Там щи горячие, вино согреют кровь,
Избавь лишь бог от глухого соседа;
Один — я вспомню всё, и песни и любовь,
И будет так тепла безмолвная беседа...

<1845>

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА

Еще ребенком помнил он себя;
Года тянулись, и прошло их много,
И жажду дел бесславно погубя,

И осудив мечты его так строго...
А может быть — но сетовать смешно, —
Идти б он мог иной дорогой!

Но воротить былого не дано;
Напрасно мысль горячая летала
В степях широких стороны родной;

Там перед ним всё грустно воскресало:
Деревня, барский дом и плут-француз,
Гостиная с портретом генерала,

Суровый взгляд отца, и хитрый трус
Дворецкий, барынь вид всегда жеманный
И ежедневных сплетней пошлый груз.

Потом отъезда час, давно желанный,
И встрепенулся робко детский ум,
И мучилась душа тревогой странной...

Но что ж ее могло встревожить? — Шум
Дорожных сборов, пыльные коляски
Иль вид отца? Но он всегда угрюм.

И темные задумывались глазки,
А к сердцу кралась тихая тоска,
И взор искал кругом приветной ласки...

Какой-то дух шептал ему, слегка
Касаясь темных жизни откровений;
Он говорил: «Взгляни, уж далека

Пора забав беспечных; словно тени,
Уходят дни; поверь, я разгадал
Неясный смысл ребяческих стремлений;

В глуши степной, дитя, ты вырастал;
Никто, никто не тешился тобою;
Названий милых ты не повторял;

Никто, обняв заботливой рукою,
В глаза твои с любовью не глядел;
И детской безгрешною мольбою

Ни за кого молиться ты не смел...
Но за тобою я слежу незримо;
И помню всё: как голос твой звенел

Речами смелыми, как в сад любимый
Ты убежал и, волю дав мечтам,
В тени густой ты засыпал... и мимо

Я пролетал, и долго по часам
Кудрявою головкой любовался,
Как по ланитам свежим, по устам

Румянец и пылал и разливался,
И светлый мир каких-то давних лет
На памяти печальной пробуждался...

Но — чу! тебя позвали: ждет обед,
И чинно ты явился с гувернером
Гостям твердить подсказанный привет.

Всё лица важные, и разговором
Приличным заняты; отец подчас
Так зло острит с мелкопоместным сором;

Те улыбаются, низенько поклоняясь.
Известный всем богатством и связями,
Меж них он был точь-в-точь удельный
князь.

Заметил я меж прочими гостями,
Сидел в углу твой дядя, старый плут:
Он всё молчал, был очень занят щами.

Его давно майором все зовут;
Служил сперва в пехоте нижним чином;
Рассказывал, как крепости берут,

И вытянул, и стал он дворянином
Потомственным; и смолоду был хват,
Игрок, — лишь не привык к гостиным!

На тетушке твоей он был женат;
Что ж, партия изрядная; и знаки
Отличия, солиден и богат!..

Вот через год, боясь какой-то справки
(Казна шутить не любит!), поскорей
Он чистой стал просить отставки,

И вышел чист. Потом, как зверь, в глухой
норе

Забился, грабил мужичков, и вскоре
Жену похоронил в монастыре;

Исправно ел, пил, спал и плакал с горя;
И слыл у всех примерным добряком...
Но, о душевных качествах не споря

(По свету зло так смешано с добром,
Что толковать об этом стало глупо),
Недаром я остановил на нем

Отрадный взгляд; проглядывала скупю
Сухая жизнь сквозь черствые черты.
Глаза глядят бессмысленно и тупо...

Подумаешь, как пошл, как жалок ты,
О человек, и стоит ли родиться,
Чтобы в грязи житейской нищеты

Носить ярмо, наподличать, плодиться
И кануть без следа?.. Вопрос: зачем
Вам жизнь? — и думать не случится!..

Но светом я доволен между тем,
И проникать люблю в него глубоко;
И радуюсь — он вам закрыт и нем...»

И шепот замирал в тиши далекой,
Но мне кой-что позвольте пояснить,
Читатель мой, чтоб избежать упрека.

Я знаю, вам хотелось бы спросить,
Чей это шепот — светлого ли духа
Иль демона? И для чего вводить

В рассказ такие вздоры; сухо,
И черти надоели нам давно,
И к их речам уж так привыкло ухо,

Что клонит сон: и вяло, и темно.
Вы правы, но скажите, отчего же
(Случалось это с вами?) скучно, ни одной

Отрадной мысли; прошлое встревожа,
Напрасно ищешь яркого следа!
И радость и печаль равно похожи

На серый день осенний. И тогда
Не слышится ли безотвязный шепот
Больному слуху? Лучшие года

Клеймит насмешкою безумной ропот
Измученной души... везде укор —
И в тине ежедневных хлопот,

И в жажде благородной... всё позор!
Но что ж это? Постигнуть ум не смеет...
Последним ли порывам приговор?

Иль уж пора? Глухой могилой веет...
Или, пройдя годов тяжелый ряд,
Лишь злобу ты сберег?.. Иль это реет

Крылатый демон? Кинув грустный взгляд,
Он тешит нас рассказом ядовитым...
И жадно слушаешь, — и не слышать бы рад!..

То было и с моим героем. Скрытый
Недуг в груди проснулся и сжигал
Его хандрой упорной; в мир забытый

(Как я рассказ мой начал) он вникал
Суровой думой, и не без волненья
Он многое теперь разоблачал.

Во всем искал он горького значенья.
И точно, им не в шутку овладел
Всегда печальный демон размышленья...

Быть может, это века нашего удел:
Мы всё хотим проникнуть иль разрушить.
Блажен, кто насладиться всем умел

Без дальних рассуждений!.. Но дослушать
Я вас прошу мой прерванный рассказ.
Мы перейдем, чтоб связи не нарушить,

Как наш герой припомнил грустный час
Тревожного и шумного отъезда.
Коляска желтая да тарантас

Весь день с утра стояли у подъезда.
В гостиной тьма народа — вся родня,
Соседи близкие, всего уезда

Диктаторы. Кто, голову склоня,
Молчал, кто пил усердно на прощанье;
Ну, словом, шло как следует. Звеня

Бокалами, пошли на лобызанье
К отцу, все хором врали пустяки,
Твердя на путь приличные желанья.

Верны обрядам старым русаки:
Что похороны, свадьба, иль крестины,
Приезд, отъезд — нам всё равно с руки —

Попить, поесть, и к черту все кручины!..
Но кони тронулись, и зазвонил
Валдая дар напев свой скучно-длинный.

«У церкви стой!» Мы вышли; помню, был
Чудесен миг, — наворачивались слезы...
Нас осенил крестом отец Панфил...

У церкви две старинные березы
На памятник шатром склонились, — миг
Еще чудесный!.. И — о, проза, проза! —

Вдруг галки подняли ужасный крик;
И мы с могилой матери простились.
Кнутом лениво шевелил ямщик;

До нас слова неясно доносились;
Вилась клубами по дороге пыль,
И мужички, зевая, расходились.

И так давно!.. О боже, не мечты ль
В расстроенном кипят воображеньи?..
Иль это в самом деле было?..

И много, много дум без выраженья
Его томило; сердце так полно
И пусто... Так просило раздраженья

И скоро так уж им утомлено!..
И он как будто вспомнил: неужели
Я прожил всё!.. Но чем же решено?..

Но я вам не сказал еще доселе,
Кто он, каков собой и как одет,
Военный, статский; верно б, вы хотели

Увидеть ярко схваченный портрет?
Я вам его представлю непременно,
Полюбите его, — иль, может, нет!

А впрочем, он герой обыкновенный,
Как, например, NN, и я, и вы.
Простимся же до будущей главы.

<1846>

В АЛЬБОМ М. В. Г.

Давно-давно я не писал стихов!
Да и смешно в наш век утилитарный
Для рифм, цезур и прочих пустяков
Идти в толпе едва ли не бездарной
Поэтов наших; стоит ли трудов
Писать стихи — товар неблагодарный!

Мечтать, бранить толпу и прочее — старо,
И не к лицу, и, согласитесь, — скучно.
К восторгам нынче стали равнодушны;
А потому давно мое перо,
Покинув мир *поэзии бесплодной*,
Покорно стало прозе благородной.

Хоть о стихах поспорить бы я мог
С разумным светом, но, увы, к чему же?
Предмет пустой, а в споре что за прок,
Не будет нам не лучше и не хуже...
Итак-с, пишу. В наш скучный уголок,
.....

Вы с юга милого судьбой занесены;
Вы счастливы... Дай бог вам много счастья!

Пускай сквозь мглу житейского ненастья
Вам чудятся святого детства сны...
Пускай судьба вам светлый путь проложит...
.....

Из света нашего, где скучно, холодно,
Переноситесь чаще, сердцем полным,
Под кров приветный стороны родной, —
К ее степям зеленым, вольным, ровным;
Там так свежо; змеистой полосой
Мелькает речка в камышах, безмолвно

Глядит ночное небо, ветерок
Приносит звуки песенки далекой,
Цветут черешни, — в зелени глубокой
Весь потонул белёный хуторок,
Где вы росли беспечно, где гуляли
Задумчиво, где вы его узнали...

Да будет путеводною звездой
Светить мне ваше счастье святое,
Как страннику, усталому душой,
Среди глупцов, где чувство молодое
Бойтся их насмешливости злой —
И замерло, и спит себе в покое...

О, детство, детство!.. Милая пора,
Пора стихов, любви и увлечений!..
Спросите: верно, помнит друг Евгений
Те длинные, живые вечера.
Мы жили дружно, — я был весел и беспечен,
И опытом и роком не замечен..

Но, кажется, мой стих уж захромал, —
Не вывели неловкие октавы!
Что ж делать! Впрочем, я это писал
Не для потомства, денег или славы...
Я говорил от сердца... боже правый.

Ужели я с моим стихом простым
Смешон и странен, как дикарь угрюмый
На бале посреди веселья, шума,
Где всё блестит уменьем выказным,
Где всё смеется, хвастает искусно,
Где мне порой так тяжело, так грустно!

< 1846 >

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Облака толпой косматой
По небу летят,
Ниве юной, полосатой
Бурею грозят.

Ветер дремлет над травой,
Воздух душен стал;
Гром за синею горою
Глухо застал.

Что ж, дитя, ты приуныла,
Что глядишь в окно?
Думы ль вещей тайной силой
Сердце смущено?

Молний блеск тебя пугает
В темных небесах,
От окошка отгоняет
Суеверный страх.

О, склонись головкой нежной
Ты к груди моей —
И в лицо грозе мятежной
Взглянем мы смелей...

Верь, гроза — не разрушенье...
И во всем живом
Будит силы обновленья
Благодатный гром.

Верь, что завтра утром рано
Заблестят поля;
Я с тобой вот так же стану —
Обниму тебя...

1846

ОБОЗ

Издаляка, дорогой большою
Потянулся обоз — всё с товаром;
Мужички — кто идет стороною,
А кто на воз прилег под рогожу.

На дворе стоит осень глухая;
Вишь ты, поле совсем пожелтело;
Уж езда на колесах плохая,
Колеи заковало морозом.

Ну ты, пегой, плетись за другими!
Эх, долга будет нам путь-дорога!
Словно веник с сучками сухими
Встретишь липку, — и всё глушь такая!

А промчится почтовая тройка,
Как присвистнет осанистый парень,
Словно что-то припомнится горько...
Ну ты, пегой, плетись помаленьку!

Налегке не езжали мы, что ли?
Аль коней не таких не видали?
Будет с нас — понатешились волей,
Прогулять мы сумели что было!

А как мблнца взяли — женили,
Как женили да руки связали,
Да с заботой-нуждой породнили, —
Не взбрдет и на ум эта удаль!

И плетись за другими ты следом
Да мурлычь себе глупую песню:
«Как жена поругалась с соседом»,
«Как солдатик пришел на побывку».

От села, от тяжелой неволи
Рад, куда б занесло тебя дальше...
Вот метель подымается в поле,
А ночлега еще и не видно.

Дай приедем: хозяин знакомый;
Он ворота со скрипом отворит,
Поднесет да постелет соломы —
И так крепко проспишь до рассвета...

* * *

Напрасно прозрачные глазки твои
Твердят о блаженстве любви.
Заглохшее сердце, молю, не тревожь —
В нем звуков былых не найдешь...

Пустые желанья и грезы страстей
Души не волнуют моей.
Испытан иною тяжелой борьбой
С моей безотрадной судьбой,

Забыл я порывы к немым небесам,
К воздушным и светлым мечтам...
Но память про вольную юность мою,
Как грустную тайну, люблю.

<1847>

* * *

И одного еще мы проводили...
И молча долго мы сидим; и очи
Потушили с каким-то страхом тайным...
Все головы печальные поникли.
Как будто мы боимся перечсть
Оставшихся, как будто мы заране
Перебираем ряд прощаний горьких, —
И нашей мирной, молодой семье
Мы шепотом «отходную» читаем...
Ах, тяжело! Так тяжело, что слово,
В сию минуту сказанное громко,
Нам кажется нахальным святотатством...
Молчим. И это важное молчанье,
Как черная монашеская ряса,
Покрыло нас — и с миром разлучило...
А в комнате как будто кто-то ходит
И веют только что умолкнувшие речи...

<1847>

Д. Д. АХШАРУМОВ

Дмитрий Дмитриевич Ахшарумов родился в Петербурге в 1823 году в семье известного военного историка. В 1846 году он окончил восточный факультет Петербургского университета.

Еще на студенческой скамье Ахшарумов сблизился с петрашевцем Ипполитом Дебу, который оказал большое влияние на формирование его взглядов и ввел его в конце 1848 года в кружок Петрашевского. «С ним вместе, — писал Ахшарумов по поводу влияния Дебу, — разрушены окончательно мои предрассудки: религиозные, нравственные и политические. Мы говорили часто, особенно он, о Франции, об ученых тамошних, о речах Тьера против Гизо; читали запрещенные книги, романы, «Революцию» Тьера ... В последнее время от него же получил я социальные книги, которые дали мне новый взгляд на жизнь».

Примкнув к «чистым» фурыеристам, собиравшимся у Н. С. Кашкина, Ахшарумов оказался одним из самых активных и революционно настроенных членов этой группы петрашевцев. В его рукописях и в показаниях следственной комиссии засвидетельствована готовность пойти «на все», вплоть до «восстания против прави-

тельства», «для приведения в исполнение истины», то есть «выстроить фаланстер Фурье». Суждения Ахшарумова о будущем социальном строе и необходимых общественных преобразованиях, по мнению комиссии, судившей петрашевцев, отличались «дерзостью и преступностью мыслей».

Арестованный вместе с другими петрашевцами в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, Ахшарумов не выдержал одиночного заключения в Петропавловской крепости и обратился к Николаю I с просьбой о помиловании, в чем всю жизнь потом раскаивался. 22 декабря он был выведен на эшафот и выслушал смертный приговор. Окончательный приговор гласил: «на четыре года в военные арестанты, а потом в рядовые на Кавказ». В арестантских ротах он пробыл полтора года, а затем был переведен рядовым на Кавказ.

В 1856 году Ахшарумов вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Дерптского университета, откуда перешел в Петербургскую медико-хирургическую академию. По окончании ее сотрудничал в медицинских журналах, занимал разные врачебные должности. В 1882 году Ахшарумов подал в отставку. В это время он начал писать воспоминания. Попытка напечатать их в журнале «Русская старина» (1887) кончилась неудачей: журнал был задержан цензурой, а воспоминания запрещены. Полностью они были опубликованы отдельной книгой только в 1905 году.

Почти все известные нам стихи Ахшарумова написаны во время заключения в крепости. В книге «Из моих воспоминаний» Ахшарумов рассказывает: «Я целый день почти говорил сам с собою вполголоса ... Иногда я был в возбужденном состоянии и говорил нараспев стихами, декламируя их ... Я ходил по комнате взад и вперед, то скоро, то тихо, и бормотал сам с собою, а иногда громко декламировал и потом гвоздем писал на стенах или на полях книг сочиненное». Тюремные стихи и несколько других стихотворных опытов более позднего времени Ахшарумов включил в книгу «Из моих воспоминаний» в качестве автобиографических документов.

Умер Ахшарумов в 1910 году.



Едва я на ногах, шатаюсь как пьяный,
Мысль отуманена, и голова горит.
Ох! тяжело сидеть в тюрьме поганой —
В ее стенах один я, как живой, зарыт:
Томлюсь, переносу тяжелые лишения
Свободы, воздуха и голоса людей,
Всё в одиночестве, в тюремном заключеньи,
При кликах часовых, шептаньях сторожей
Иль шумной беготне со связками ключей.
И колокольный звон, всегда однообразный,
Переливаясь, и день и ночь звучит;
Куда ни поглядишь — тюрьмы вид безобразный,
Перед глазами всё шпиц крепостной торчит.
Ох, тяжко, тяжко мне, — мои воспоминанья
Влекут меня в былые счастья дни,
И плакать хочется, без слез мои рыданья,
Их заменяет смех, трепещущий в груди.
И злобой и тоской исполненный глубокой,
Я хохочу один здесь одинокой.
О боже праведный! Спаси и сохрани
Мой павший дух в тюрьме от истомленья.
Сибирь и каторга — мечты мои одни,
В них счастье всё мое и радость избавленья.

* * *

Позором века
Для человека
Стоит тюрьма.
Туда сажают
И запирают —
Там полутьма.

И, задыхаясь,
В грязи валяясь,
Там люди ждут,
Пока всё длится,
Пока свершится
Над ними суд.

Обитель страха,
Куда с размаха
Вдруг я попал;
Где одинокой
В тоске жестокой
Я духом пал!

И всё зеваю,
Без слез рыдаю —

Нет больше сил!
О боже, боже!
Что ж это, что же
Ты мне судил!

1849



Земля, несчастная земля,
Мир стонов, жалоб и мученья!
На ней вся жизнь под гнетом зла
И всюду плач, со дня рожденья;
В делах людских — раздор и крик,
И трубный звук, и гул орудий,
И вопль, и дикой славы клик;
Друг друга жгут и режут люди!
Но время лучшее придет:
Война кровавая пройдет,
Земля произрастет плодами,
И бедный мученик-народ
Свободу жизни обретет
С ее высокими страстями:
Обильный хлеб взрастет над взрытыми полями,
И нищая земля покроется дворцами!

Тогда и для земной планеты
Настанет период иной.
Не будет ни зимы, ни лета,
Изменится наш шар земной:
Эклиптика с экватором сольется,
И будет вечная весна...

И для людей другая жизнь начнется —
Гармонией живой исполнится она.
Тогда изменятся и люди и природа,
И будут на земле — мир, счастье и свобода!

1849

* * *

День за днем всё идет да идет,
Что прошло — не вернется обратно,
Время месяцы, годы несет,
И пройдет наша жизнь безвозвратно.

И пройдут все людские нелепости,
Всё исчезнет — и тюрьмы, и крепости,
И не будут сажать в них людей,
Как в железные клетки зверей.

И века за веками катятся,
Застилает их мрак и туман,
Не узнаешь, куда они мчатся...
Там пустыня, где был океан!

Изменяется жизнь всей вселенной,
В новых образах всё зацветет,
Но закон, и закон неизменный, —
Всё пройдет, всё умрет, что живет.

Не умрет одна мысль лишь живая —
В ней бессмертье и вечность лежит,
В ней дыханье — весна молодая,
И бесчислен ее чудный вид:

То в земле червячком обитает,
То плывет в океане китом,
Вольной птицей под небом летает,
По земле мчится быстрым конем.

Ярким солнцем на небе сияет,
Катит волны, гремит в облаках
И в бесчисленных звездах блистает,
Разносясь в разноцветных лучах;

Она в мире живет Аполлоном,
Со глубокою думой в очах,
С звонкой лирой, с челом вдохновенным
И могучею песнью в устах.

Вы, горящие в небе светила!
Гор вершины, моря и леса!
Вы скажите мне, где эта сила,
Что такие творит чудеса?

Но, ответа не дав, всё шумели
Океаны, моря и леса,
И светила на небе горели. . .

Одни горы ответом гласили —
По ущельям своим и скалам
Громким эхо вопрос раскатили
И подняли его к небесам!

* * *

Гора высокая, вершина чуть видна,
 Пустыня жаркая, нет ни дождя, ни тени;
 Вся тернием густым обложена она
 И знойным воздухом удушливых растений
 И мне, бессильному, досталось идти
 По столь тяжелому пустынному пути! ..
 И я иду по нем, едва переступаю,
 Шатаюсь иду, иду и за собой
 Кровавые следы страданья оставляю, —
 Судьба жестокая свершилась надо мной!
 Со взором ищущим, палящими устами
 Иду, от крутизны мне сердце в грудь
стучит;
 И солнце жжет и жжет меня лучами,
 Грудь задыхается, и голова горит!
 Куда ж ведет меня пустынный путь, мне
новый?
 На эту высь и даль — туда мне не взойти. . .
 И с ужасом смотрел я на мой путь
терновый.
 И оглянулся я, нельзя ль назад сойти.
 И вдруг глазам моим видение предстало —
 Я женщину увидел пред собой:

Чудовище передо мной стояло
Ужасной вышины, с огромной головой,
И руки грязные с участием простирало:
Старуха мерзкая, отжившая свой век,
Немытая со дня рожденья,
На ней болезнь, разврат и преступленье —
Всё, чем когда-либо был гадок человек;
Навешены на ней сокровища земли —
И жемчуг, и алмаз, и золота куски,
Но язвами покрыто ее тело
И из-под золотой блистающей парчи
Рубаха черная лохмотьями висела.
Глава лохматая покровом величавым,
Покрыта вся, как твердою броней,
Кругом штыки, мечи, доспехи дикой славы,
И там же наверху лежал закон кровавый,
И эшафот стоял с отрубленной головой.
На раменах ее столицы возвышались,
И между ними был и наш шпиц крепостной,
И он не меньше всех блистал своей главой.
И там же близ церковей построены темницы,
И за решетками, едва просунув нос,
Виднелись в окнах всё замученные лица;
В глазах их не было ни капли больше слез,
И нечем было им ни плакать, ни молиться.
Глазам не веря, я, испуганный, стоял:
«Откуда предо мной ужасное виденье?
Откуда ты взялось, и кто тебя призвал,
Ужель и ты, творца великого творенье,
Имеешь право жить, живое существо?!Ужель в груди твоей есть жизнь и сердце
бьется

И кровь, живая кровь, по жилам твоим льется?
Ужасен образ твой и страшно бытие!»
Я заслонил глаза, закрыв лицо руками,
Но образ предо мной стоял всё как живой,
И звук пронзительный, и громкий и глухой,
Вдруг оглушил меня ужасными словами:
«Дитя мое! Со мной ведь ты давно знаком,
Чего ж боишься ты? Приди в мои объятия!
Я отнесу тебя в родной твой край и дом,
Я возвращу тебе друзей, родных и братьев!»
Я бросился бежать — она за мной вослед:
«Тебя избавлю я от этих мук и бед,
Дитя мое! Ужель меня ты не узнал?
Я мать твою, — она мне говорила, —
Вот у меня сосцы, — не ты ли их сосал?
Мой друг, мое дитя, не я ль тебя вскормила?»
От изумленья я чуть мертвый не упал,
Но страхом гибели мне сердце всё облило,
И легок стал мне путь, где я изнемогал:
Я в гору бросился бежать изо всей силы,
И долго, долго я, испуганный, бежал,
Ужасный образ тот из глаз моих пропал,
И я, измученный, на землю повалился...

В пустыне знойной я лежал без чувств, немой,
Но вот, очнувшись вновь, я к жизни пробудился
И вдруг почувствовал прохладу над собой,
Как будто целый лес шумел и шевелился,
И осыпаем был я пылью водяной;
Смотрю — густая сень, качаяся ветвями,
Широколиственно склонилась надо мной,
И, рассыпаяся журчащими струями,

Бил из земли фонтан; всё свежестью дышало
И ароматами цветов благоухало.
Откуда ты взялась, таинственная сень,
И кто тебя взрастил в пустыне в знойный
Живой родник гремел, журчал, бежал день?!
И я прильнул к нему палящими устами ручьями,
И жажду утолил...
О непостижная природа, жизни мать,
Иль бог, всеильный бог, святое провиденье!
Ты знаешь, что кому, когда и как подать,
Погибшему послать и отдых и спасенье!..

Меж тем стемнело всё, — я на горе стоял...
И, оглянувшись, увидел, изумленный,
Тот город, где я жил, томился и страдал, —
Там, в глубине внизу, огнями освещенный,
Он как бы в пропасти передо мной мерцал!

* * *

Судьба жестокая свершилась надо мной.
От смертной казни я едва освобожденный,
Стою среди снегов, один, в стране чужой,
В остроге, как в тюрьме, погибнуть осужденный.

Прощай, мой милый край, семья моя родная!
Всё лучшее, что в жизни я любил,
И родина моя, столица дорогая!
Я с вами счастлив был, но счастья не ценил.

Вас больше нет при мне, судьбы рукой суровой
В изгнание дальнее влекусь я, — скорбь в душе!
Так, вихрем сорванный от дерева родного,
Летит зеленый лист увянуть вдалеке!..

Свободы я лишен, и в бегстве нет спасенья;
В обители снегов один я здесь стою...
Кому я выскажу тяжелые мученья,
Которые теснят и давят грудь мою?

Услышьте ж вы меня, дремучие леса!
Одни свидетели и жалоб, и страданья,
И с жизнью моего последнего прощанья;
И вы, горящие святые небеса!

Декабрь 1849

ХЕРСОНЬ

Степная глушь, Сибирь вторая,
Херсонь, далекая Херсонь,
Куда, российский снег бросая,
Меня завез курьерский конь.

Зима без снега, ветер, вьюга
Оледеневших средь равнин;
А летом солнца зной, недуги, —
Вот край, где я живу один!

Где я, тоску превозмогая,
Хожу и бледный и худой,
С бритой полуголовой —
Под тяжелой лапой <Николая>.

В неволе жизнь моя томится,
Среди убийц, среди воров,
Ах, лучше мне они сторицей,
Чем мир жиреющих рабов;

Здесь душно, грязно, вши заели,
Я худ и голоден всегда,
Но и они все похудели,
И их замучила беда!

Мое исполнилось желанье —
Из каземата вышел я
Во многолюдное собранье
Людей-страдальцев, как и я!

1850

Н. Е. РУДЫКОВСКОМУ

На жизнь я еду иль на смерть, кто знает,
На бранный наш воинственный Кавказ,
Надежда счастьем еще меня ласкает,
Но больше, может быть, я не увижу вас!
Я столько здесь страдал, меня здесь все
забыли,
Мне тяжело смотреть на эти все места,
Я проклял бы Херсон, когда б вы в нем
не жили,
Но вы меня навек с ним примирили,
И я б желал вернуться вновь сюда!

.....
Теперь я пережил тоски однообразной,
Неволи дни, и еду в дальний путь,
И скоро пред собой узрю Казбек алмазный
И Шата девственную грудь.
Кавказ! Солдата жизнь меня там ожидает;
Как воин, брошусь я в огонь, в опасный бой,
Где лезвие блестит и пуля пролетает.
И если выйду я из битв еще живой,
И если бог вернет еще мне жизнь былого
И после долгих лет заеду сюда снова —

Взглянуть на те места, в которых я страдал,
И вас застану здесь, как вас теперь застал, —
Тогда вас обниму как друга, как родного,
Которого давно в разлуке не видал.

1851

* * *

Мои острожные друзья,
Мои товарищи бывые!
Вас не забыть, вас помню я —
Вы предо мною как живые;
Мне слышны ваши голоса
И ваши песни, ваши сказки —
Их слушал я не полчаса...
И ваши топанье и пляски,
С бряцаньем на ногах цепей,
Под блеск лучин из камышей.

1898

С. Ф. ДУРОВ

Сергей Федорович Дуров — один из наиболее видных поэтов-петрашевцев — родился в 1816 году в Орловской губернии, в имении отца, полковника в отставке. Воспитывался он в Петербурге, в Университетском благородном пансионе (1828—1833). Окончив его, Дуров служил чиновником, а затем, в 1847 году, вышел в отставку и занялся литературным трудом.

Дуров писал тогда не только стихи, но и повести, очерки, критические статьи. В это время он жил вместе со своим другом А. И. Пальмом, позднее изобразившим Дурова в романе «Алексей Слободин» под именем Григория Васильевича Рудковского.

С 1847 года Дуров начал посещать «пятницы» Петрашевского. На одном из собраний он участвовал в обсуждении вопроса о том, каким образом «должно восстанавливать подведомственные лица против власти». Он высказался за то, чтобы «показывать зло в его начале, то есть в законе и государе».

В конце 1848 года возник самостоятельный «дуровский» кружок, отколовшийся от основного кружка и отличавшийся ярко выраженными литературными интересами. Члены кружка, в ко-

тором участвовали, кроме самого Дурова, петрашевцы А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский, Н. А. Спешнев, А. П. Милюков и другие, придавали большое значение литературе как средству агитации. Здесь обсуждали и вопрос об организации тайной типографии. Такие документы, как письмо Белинского к Гоголю и «Солдатская беседа» Григорьева, обсуждавшиеся на собраниях, участники «дуровского» кружка пытались распространять нелегальным путем в рукописных копиях.

Арестованный вместе с другими петрашевцами, Дуров 22 декабря 1849 года выслушал смертный приговор и вместе с Достоевским был отправлен в омский острог «в каторжную работу в крепостях на 8 лет». Окончательный приговор гласил: «на четыре года, а потом рядовым». О тяжелых условиях каторжной жизни Дурова рассказано в седьмой главе «Записок из мертвого дома» Достоевского: «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, бодрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой». Однако, судя по воспоминаниям современников, Дуров и на каторге сохранил свои убеждения и любовь к поэзии.

Летом 1857 года, вернувшись из Сибири, он отправился в Одессу и поселился у Пальма; здесь он жил до конца своих дней, изредка посылая стихи в столичные журналы. Умер Дуров в 1869 году.

Стихотворения Дурова, разбросанные по журналам, газетам и альманахам, никогда не издавались отдельной книгой, хотя не раз включались в хрестоматии, а переводы — в собрания сочинений иностранных поэтов (Байрона, Барбье, Гюго, Беранже).

ИЗ В. ГЮГО

Не насмехайтесь над падшею женой!
Кто знает, что она извела душой,
Кто может разгадать ее страданий повесть
В те дни священные, как в ней боролась
совесть.

Быть может, волею ума укреплена,
За честь, как за оплот, хваталась она, —
Так видим иногда: росинка дождевая,
К листку зеленому с любовью принимая,
Блестит, пока с него она не сорвалась, —
Перл до падения, а по паденьи грязь.

А кто, скажите мне, виной ее разврата?
Мы сами: ты, богач, — твое серебро и золото.
Но как бы ни было, всему своя чреда:
В грязи заключена чистейшая вода.
Чтоб перлом заблестать упавшей капле
снова —
Ей нужен луч любви, луч солнца золотого!..

<1843>

ДАНТ

(Из Августа Барбье)

О старый гибеллин! Когда передо мной
Случайно вижу я холодный образ твой,
Ваятеля рукой иссеченный искусно, —
Как на сердце моем и сладостно и прустно! ..
Поэт! В твоих чертах заметен явный след
Святого гения и многолетних бед! ..
Под узкой шапочкой, скрывающей седины,
Не горе ль провело на лбу твоём морщины?
Скажи, не оттого ль ты губы крепко сжал,
Что граждан бичевать проклятых ты устал?
А эта горькая в устах твоих усмешка
Не над людьми ли, Дант? Презренье и
насмешка

Тебе идут к лицу. Ты родился, певец,
В стране несчастливой. Терновый свой венец
Еще на утре дней, в начале славной жизни,
На долю принял ты из рук своей отчизны.
Ты видел, как и мы, на отческих полях
Людей, погрязнувших в кровавых мятежах;
Ты был свидетелем, как гибли семейства
Игралищем судьбы и жертвами злодейства;
Ты с ужасом взирал, как честный гражданин
На плахе погибал. Печальный ряд картин
В теченьи многих лет вился перед тобою.

Ты слышал, как народ, увлекшись мечтою,
Кидал на ветер всё, что в нас святого есть, —
Любовь к отечеству, свободу, веру, честь.
О Дант, кто жизнь твою умел прочесть, как

повесть,

Тот может понимать твою святую горечь,
Тот может разгадать и видеть — отчего
Лицо твое, певец, бесцветно и мертво,
Зачем глаза твои исполнены презреньем,
Зачем твои стихи, блистая вдохновеньем,
Богатые умом, и чувством, и мечтой,
Таят во глубине какой-то яд живой.
Художник! ты писал историю отчизны;
Ты людям выставлял картину буйной жизни
С такою силою и верностью такой,
Что дети, встретившись на улице с тобой,
Не смея на тебя поднять, бывало, взгляда,
Шептали: «Это Дант, вернувшийся из ада!..»

* * *

Бывают дни недуга рокового:
Напрасно я гляжу кругом —
Среди тревог волнения земного
Услады сердцу нет ни в чем.
Мне тяжело цветов благоуханье,
Докучен свет роскошный дня,
И звуков сладостных живое сочетанье
Не трогает меня.

Но есть часы отрадного безумства:
Печаль минувшую забыв,
Я всё готов почтить приветом чувства,
Платя отзывом на призыв, —
И грустные дотоле впечатленья
Мне кажутся так дивно хороши,
Что я б хотел иметь в подобные мгновенья
Два сердца, две души.

< 1843 >

ЦВЕТOK

В зеленой дубраве, в глуши, под травкою
На утре явился цветок;
Но к вечеру был он притоптан грозою,
А к новому утру поблек.
И жил он, и цвел он, и умер украдкой,
Никто на него не взглянул, —
Скажите, зачем же дышал он так сладко,
Зачем он в глуши промелькнул?

<1844>

ИЗ ВИКТОРА ГЮГО

Нежданно настает день горький для поэта,
Когда он чувствует, что опытность и лета
Тяжелым бременем лежат уже на нем.
Проснувшись поутру, он думает о том:
Где вы, весны моей мгновенья золотые?
Вас нет! Вы пронеслись, как призраки ночные,
И я, как незначай окраденный скупец,
Гляжу с отчаяньем на жизненный ларец!
И точно — он в душе горюет поневоле,
Бледнея каждый день, как цвет осенний
в поле.

Когда же видит он, что путь его порой
Нежданно окроплен ·живительной струей,
Он, плача, говорит, припомнив дни былые:
«Нет, это не роса, а капли дождевые!»
Отныне, может быть, испытанный во всем,
Скорее истину постигнет он умом;
Проникнет в глубину таинственного легче,
Обнимет всё скорей, обдумает всё крепче,
Рассудку подчинит свободную мечту —
Разгонит дым густой, рассеет темноту.
Но в нем погиб навек тот огонь животворящий,
Который дан ему был в юности блестящей, —
И тщетно б он хотел в создания свои,
Богатые умом и пламенем любви,

Излить ту легкую и девственную сладость,
Которую дает созданьям... только младость!
И этого ему ничто не возвратит!..
Один ли, у себя, в раздумье он сидит
И, полный снов живых и сладкого призванья,
Обдумывает план любимого созданья;
Идет ли, утомясь, бродить в зеленый лес,
Захочет ли дышать прохладой небес,
Иль, увлекаемый вослед толпы свободной,
Без цели ходит он по площади народной, —
Увы, во всем почти, всегда почти, везде,
За книгою своей, в прогулке и труде,
Невольно сердце в нем той мыслию томимо,
Что молодость его прошла невозвратно!

ИЗ БАРБЬЕ

Как больно видеть мне повсюду свою горечь,
 Читать, всегда читать одну и ту же повесть,
 Глядеть на небеса и видеть тучи в них,
 Морщины замечать на лицах молодых.
 Блажен, кому дано на часть другое чувство,
 Кто с лучшей стороны взирает на искусство!
 Увы, я знаю сам, что если б на пути
 Я музу светлую случайно мог найти —
 Дитя в шестнадцать лет, с кудрями золотыми,
 С очами влажными и ярко-голубыми, —
 Тогда бы, может быть, дыхание ее
 Рассеяло в душе страдание мое;
 Тогда бы я любил цветущие долины,
 Кудрявые леса, высоких гор вершины;
 Тогда бы, кажется, живая песнь моя
 Была светла, как день, игрива, как струя.
 Но каждому своя назначена дорога,
 Различные дары приемлем мы от бога:
 Один несет цветы, другой несет ярмо,
 На всяком существе лежит свое клеймо.
 Покорность — наш удел. Неволей или волей,
 Должны мы следовать за тайной нашей долей,
 Должны, склоняясь во прах, покорствоваться
 во всем,
 Чего преодолеть не станет сил ни в ком.

От детства мой удел был горек. В вихре
Я, словно врач, хожу по койкам лазарета,^{света}
Снимая с раненых покровы их долой,
Чтоб язвы гнойные ощупывать рукой. . .

<1844>

СОНЕТ

Нигде, ни в ком любви не обретая,
Мучительным сомнением томим,
Я умолял, чтоб истина святая
Представилась хоть раз очам моим.

И вечером, как сходит тень ночная
И по полю клубится влажный дым,
Явилась мне жилица неземная
И голосом сказала неземным:

«Ты звал меня — и я твой зов приемлю,
Лицом к лицу стою перед тобой
И холодом мечты твои объемлю.

Живи теперь в обители земной;
Тот не смущен ни счастьем, ни бедой,
Кто истину умел призвать на землю!»

< 1845 >

* * *

Люблю тебя за то, что в вихре светских бурь
Ты сохранил ума и сердца живость,
Улыбку на устах, в очах своих лазурь,
В движеньях детскую стыдливость.

Люблю тебя за то, что, юность расцветая
Приманками надежды и мечтанья,
Ты жизнью тешишься, как резвое дитя,
Еще не знавшее страданья.

Люблю тебя за то, что, волю сердцу дав,
Не заразясь пустым предубежденьем,
Ты дружбы не лишил ее заветных прав,
Любви не оскорбил сомненьем.

Люблю тебя за то, что в ветреной толпе,
Волнуемой безумными страстями,
Один лишь ты идешь по розовой тропе,
Довольный жребием и нами.

<1845>

* * *

Мы встретились — и тотчас разошлись.
Ни он, ни я не высказали мыслей
И чувств своих друг другу; будто сон,
Свиданье с ним мелькнуло и исчезло;
Но сердце мне твердит: не знаю где,
Здесь или там, сегодня или завтра
Сольетесь вы душа с душой, как небо
Сливается вдали с лазурным морем.

< 1845 >

ИЗ В. ГЮГО

Ты видишь эту ветвь; побитая грозой,
Она безжизненна. Но подожди, с весною,
Как только к нам придет июньская пора,
Ее засохшая и черная кора,
Согретая весны живительным дыханьем,
Замшится зеленью, дохнет благоуханьем.

Спроси же у меня, бесценный ангел мой,
Зачем, наедине увидевшись с тобой,
Я забываю всё — и горе и страданье,
Зачем в душе моей живей воспоминанье,
Зачем ярчей огонь горит в глазах моих,
Зачем светлее мысль и звонче каждый стих?

Ах, это оттого, что здесь ничто не вечно:
Всё переменчиво, легко и скоротечно;
Что вслед за ярким днем идет ночная тьма,
За жаркую весной — холодная зима,
За радостью — печаль, за горем — снова
радость,
А за разлукою — твоей улыбки сладость.

<1845>

* * *

Когда трагический актер,
Увлечшись гением поэта,
Выходит дерзко на позор
В мишурной мантии Гамлета, —

Толпа, любя обман пустой,
Гордяся мнимым состраданьем,
Готова ложь почтить слезой
И даровым рукоплесканьем.

Но если, выйдя за порог,
Нас со слезами встретит нищий
И, прах целуя наших ног,
Попросит крова или пищи, —

Глухие к бедствиям чужим,
Чужой нужды не понимая,
Мы на несчастного глядим,
Как на лжеца иль негодя!

И речь правдивая его,
Не подслащенная искусством,
Не вырвет слез ни у кого
И не взволнует сердца чувством...

О род людской, как жалок ты!
Кичась своим поддельным жаром,
Ты глух на голос нищеты,
И слезы льешь — перед фигляром!

<1845>

КРУЧИНЫ

Есть непонятные кручины:
Они рождаются без причины
И, словно ржавина на меди,
Ложатся едко на груди...

Не надо им несчастий близких;
Они, как сосны гор альпийских,
На голом камне могут цвести:
Всегда, во всем им пища есть...

Из сердца вырвать их нет средства,
Они пускают корень с детства;
Но если б даже вырвать их —
Нам горько стало бы без них...

<1845>

ШЕКСПИР

Не гляди на солнце
Летом, в яркий полдень,
Если богом не дан
Оку взор орлиный,
Если ты заране
Знаешь, что от блеска
Пламенного солнца
Потеряешь зренья.

Не читай Шекспира,
Если ты боишься
Глубоко проникнуть
В тайны роковые
Бытия земного,
Если ты не хочешь
Разгадать движений
Сердца человека...

<1845>

КНАЙЯ

(Из О. Барбье)

Посвящено Павлу Александровичу Мартынову

Сальватор

Завидую тебе, счастливый рыболов!
Хотел бы я закидывать тенёта
И, к берегу причалив, сеть мою
Просушивать на солнце. В час вечерний,
Когда уже за дальнею Капреей
Пурпурный луч заката догорает,
Я бы хотел, как ты, носиться в море
И видеть ночь, сходящую с небес.
О, пожалей меня, товарищ, в людях
От горести я вяну, потому
Что край родной мне сделался противен;
В моих глазах Неаполь златоверхий
Не тот, чем был. Сады благоуханны,
Лазурь небес, целебно-сладкий воздух,
Вливающий отраду, бледность утра,
Румянец вечера, краса залива,
По коему крылатые ладьи,
Как лебеди, ныряют, — словом, всё:
Поля в цветах и огненный Везувий,

И самое воспоминанье детства
По старине не могут разогнать
Над головой моей тумана... Краски
В моих руках теперь теряют свежесть;
Печальный тон ложится на картинах.
Я бросил кисть, разбил мою палитру,
И по земле, облитой жаркой лавой,
В полдневный зной скитаюсь как изгнанник.

Рыбак

О милый друг! Я понимаю вздох,
Из уст твоих слетевший; понимаю,
Зачем твои кудрявые волосы
Бросают тень, сбегая на плечо,
Покрытое разорванной одеждой;
Зачем лицо так бледно, а глаза,
Насупившись, сверкают исподлобья.
Ты не один, поверь, страдаешь втайне:
Хоть грудь моя черна, но не из камня.
Я чувствую, как ты, что солнце наше
Моей души уже не греет боле.
Ах, кто из нас нарядится? Кто в силах
Надеть венок из листьев виноградных?
Кому на мысль придет под сенью лавра
Протанцевать живую тарантеллу?
Кто музыкой прогнать сумеет горе,
Когда оно, как червь, нам гложет сердце?
Друг, наша жизнь — прогоркнувший лимон,
Которого ничто не усладит. Мы дети
Прекрасные прекраснейшей земли,
Но, как волы, осуждены судьбою
Нести ярмо тяжелого рабства;

Нам надо лбом ломиться, тратить силы,
Потеть в трудах и, к довершенью мук,
Переносить побои иноземца.

С а л ь в а т о р

О рыболов, тебе, по крайней мере,
Осталось в отраду это море,
Обширное и светлое, как небо.
Ты, как орел, которому земля
Прискучила, слетаешь с гор кремнистых
И в челноке плывешь в открытом море,
Смывая гной с душевных ран своих.
Удар весла — и ты, вольнолюбивый,
Становишься властителем вселенной.
Там можешь ты поднять свое чело,
Как человек глядеть на небо прямо
И песни петь... А если моря шум
Издалека примчит к тебе случайно
Отзвучия земные и на сердце
Навеет грусть, ты смело можешь плакать
И ропот свой сливать с роптаньем волн.
А мы, увы! жильцы земли печальной,
Осуждены в безмолвии страдать,
Нести ярмо пришельцев ненавистных
И грудь позор свой защищать;
Должны глядеть на зло холоднокровно,
От коего б с досады лопнул камень;
И, наконец, волненья затаив,
Искать угла, в котором было б можно
Об участи своей поплакать. Ныне
Нам жалоба вменяется в проступок.
Земля, мой друг, на коей мы родились,

И воздух тот, которым дышим мы,
Заразою язвительною веет:
Из двух друзей, беседующих вместе,
Всегда один безнравственный доносчик.

Рыбак

Не вечно же противный ветер будет
В наш парус дуть. Припомни, добрый Роза,
Над нами есть святое провиденье,
Которое воззрит на нашу участь;
Оно не даст в обиду бедняка
Скупцу богатому. Оно нам облегчит
Путь к счастью. Мы, спящие на камне
И целый день трудящиеся в поте,
Когда-нибудь узнаем лучший жребий.
Из нас теперь немного легковерных:
Придет пора, и явятся меж нас
Мыслители, в устах с железным словом.
Объевши кость, захочется нам мяса,
За осенью для нас наступит лето...
Я эту надеждой успокоен
И весело мои кидаю сети
У берега и в безднах недоступных:
Когда-нибудь в заливе голубом,
На золотом песке берегов Киаии,
Я уловлю в сетях моих — свободу...

Сальватор

О рыболов, ужель ногою белой
На палубу к тебе свобода станет?
Ужель она рукой твоих собратий
Введется к нам в Неаполь? Я боюсь,

Чтоб речь твоя напрасно не погибла,
Как звук пустой и лживый. Эта гостья,
Которую свободой мы зовем,
Нисходит к тем, которые достойны
Ее любви; а мы погрязли в лени;
Лицо ее и поступь для народа,
Убившего в разврате мощь свою,
Понравиться не могут. Сибариты,
Обросшие кудрявой, черной шерстью,
Расползшие от неги и еды, —
У них душа в мамоне, и мамон
В их голове; безмысленно зевать,
Пить, есть да спать — для них одно
блаженство!

По улицам валяясь на спине,
Они глядят по целым дням на небо
И от него даров съедобных ждут;
Единый бог для них могуч и силен,
И этот бог — обжорство. Все другие
Высокие и пламенные чувства
Для сердца их не внятны. Боязливо
Они глядят на меч...

Рыбак

О добрый Роза!
Не обвиняй народа. Горе сердца
Наполнило твой ум мертвящим хладом
И гордостью. Ты смотришь на отчизну
Ошибочно. Народ всегда надежен,
Народ всегда — хорошая земля,
Удобная к богатой разработке;
Земля, внутри которой вечно бродит

Могучий сок, всему дающий жизнь
И действующий вечно с равной силой.
Он — сильный дуб, возводит к небесам
И, возродя, питает человека.
Добром платя за зло и оскорбленье,
Сторицею под плугом и сохой,
Он нам дает обилие и жатвы.
Кидай навоз на землю, всё она
Переродит в златистые колосья;
Она всему, дает живую силу,
На ней одной великое родится...

С а л ь в а т о р

Не знаешь ты, как тягостна для сердца
Живая мысль, не вылитая явно.
Ты плакал бы, как я, когда бы то же
Мог испытать; но, человек простой
И добрый, ты не можешь разгадать
Моей тоски, моих страданий едких,
Отчаянья, которое рождает
Та мысль, что я, рожденный быть на солнце,
Во мраке дни мои окончить должен.
Не знаешь ты, как больно для души
Иметь крыло и быть в позорной клетке.
А между тем что день, то смерть к нам
ближе,
Что день, то меч, врученный нам от бога,
Снедается обыкновенной ржавой.
Мы чувствуем, что в нас, от недостатка
Возвышенной и благородной пищи,
С дня на день огонь душевный тратит силу,
Что тело в нас живет за счет души,

И гений наш, затерянный в пустыне,
Гниет, как кладь в закрытом сундуке.
Для гения, мой друг, нужна свобода,
Как пьянице бокал широкодонный.
И мне простор необходим. Ты видишь,
Я утомлен бесплодным ожиданием...
Устал вздыхать и плакать, как скопец
Над девою в бессильной страсти плачет...
Когда народ, имея столько силы,
Бездейственно у нас коснеет ныне,
То я иду искать других людей.

Рыбак

О истинно возвышенное сердце,
Горячая и жаркая душа!
Ужели ты не можешь подождать
День... два?.. а там... когда негодованье
Правдивое на свет и на людей
Тебе велит бежать от нас в пустыню,
Друг, берегись другой ужасной бездны,
В которую мы впали нынче все:
Не сделайся бездушным себялюбцем,
Не забывай, что есть над нами промысл;
И если он обогатил нам душу
Влечением к прекрасному, то это
Не для пустой себялюбивой цели,
Но к общему благополучью. Каждый
Из нас отдать отчет обязан богу
В своих делах: я за мои слова
Отвечу там, а ты, Сальватор Роза,
За кисть свою и краски. Дай мне руку,
Возьмем себе в вожатого терпенье:

С ним самое страданье как-то легче,
И каждая высокая душа
В нем мирное прибежище находит...

С а л ь в а т о р

Ты искренно и сладко говоришь;
Но вспомни то, что на родимой почве
Пшено теперь становится крапивой,
Что семена у нас теряют силу
И не дают полезных прозябаний.
От родины не жду я ничего
И навсегда с Неаполем прощаюсь.
Привет тебе, калабрская земля,
Где выси гор туманами дымятся
И вал морской всегда о берег плещет!
Я кланяюсь тебе, гигант Гаргано,
Окутанный косматыми лесами
И спорящий с грозой!.. О, прими
Меня теперь под сень свою! Позволь
С кочующим и девственным народом
Соединить навек мой горький жребий,
Упитья их веселою свободой
И с ними хлеб насущный разломить...
Там, только там величье человека
Во всей красе еще досель осталось
И девственна земля еще доселе;
Там снова я для счастья оживу,
И, как орел, я буду долго-долго
И жизнью и счастьем упиваться...
А если смерть придет ко мне чредой,
Не саван я надену гробовой,
Не меж досок истлеть придется телу;

Я скроюся в объятиях Сибеллы,
Как легкий дым на небе голубом,
Как тихий ключ на черном дне морском,
Не кинув по себе для суетного света
Ни имени, ни пыльного скелета...

8 мая 1845

ОРУЖИЕ

(Ребенку)

Сынок отважного бойца,
Малютка милый, шаловливый,
Не тронь оружие отца:
Оно опасно, хоть красиво.

Пускай блестит, пускай звенит —
Не обращай на то вниманья.
Оно, как друг, к себе манит,
Но даст потом, как враг, страданья.

Не тронь его до дальних дней...
Ты будешь сильный и проворный,
И загремит в руке твоей
Оно игрушкой покорной.

А я молюсь, чтобы тогда
Оружья всем игрушкой были;
Чтоб зверство, горе и вражда
Ни лиц, ни стали не темнили.

13 сентября 1845

ОСЕАНО НОХ¹

(Из В. Гюго)

О, сколько моряков и сколько капитанов,
Уплывших некогда в далекие страны,
Погибло без вести среди морских туманов
Немыми жертвами изменницы-волны.
Сойдясь безвременно с безвременной кончиной,
Они погребены неведомой пучиной.

Их нет!.. И нам не знать их смерти роковой,
Не знать истории их страшного крушенья,
Не выведать от них с проклятьем иль мольбой,
Что вынесли они в последние мгновенья.
Волна ревнивая всё рушила вконец:
От ней разбит корабль, и в ней погиб пловец.

К кому-то, бедные, они приплыли в гости?
Где их тела теперь найдут себе приют?
Где успокоятся разрозненные кости?..
А между тем давно на родине их ждут,
К ним каждый день отцов моления несутся;
Но их отцы умрут, а милых не дождутся..

¹ Ночь на океане (лат.). — Ред.

Заветные друзья, кидая тихий взор
В минуты сладкие вечернего досуга,
Об них ведут теперь веселый разговор,
И каждый ждет себе потерянного друга;
Меж тем уже давно их участь решена:
Волна их привлекла, сгубила их волна.

«Где вы, — твердят они, — где вы живете
ныне?»

Конечно, позабыв о милых и друзьях,
Вы поселились в какой-нибудь пустыне
Иль царство обрели на дальних островах...»
Но есть всему череда: пройдут за годом годы,
И время память их умчит, как тело воды...

Об них со временем устанут говорить,
Из памяти они исчезнут, словно тени;
И только жены их случайно, может быть,
В часы вечерние печальных размышлений,
Сидя у очага, в кругу детей своих,
Припомнят в тишине невольню образ их!

Когда же и они сойдут под сень могилы,
Об вас забудут все. Без всякого следа
Навек вы сгинете. Ни надписи унылой
На каменной плите не будет никогда,
Ни в песне жалобной у сельского кладбища
Об ваших именах не вспомнит бедный нищий.

Пловцы отважные, куда сокрылись вы?
Где смерть вы встретили с надеждою во взоре?

Об этом не узнать от ветреной молвы:
Бог это ведает, да знает это море.
Но не от этого ль вечерний ропот волн
Какой-то тайною и горестию полн. . .

2 ноября 1845

* * *

Я как сокровище на памяти моей
Сберег прошедшее: надежды прежних дней,
Желанья, радости, мелькавшие когда-то,
Всё, всё мне дорого и всё доселе свято.
Я памятью живу; и как не жить? Я был
Для счастья рожден. Я с детства полюбил
Уединение, природу, кров домашний
И лень беспечную. Мечтой моей всегдашней
Был тихий уголок в родном моем селе,
Хозяйка умная, щи-каша на столе,
Да полка добрых книг, да лес густой, да поле,
Где мог бы я порой размыкать грусть
на воле...

Не то сбылось со мной. Мой юношеский сон
Развеян случаем. Я в жертву принесен
Тщеславья, чуждого душе моей (в угоду
Чужого мнения). Я потерял свободу,
Которая была любимой мечтой
Души восторженной. Теперь в толпе людской
Вполне затерянный, без цели, без участия
И без надежд иду по скользкому пути.
Как мало, кажется, нам надобно для счастья.
Как много надобно, чтоб нам его найти!..

<1846>

ИЗ В. ГЮГО

Когда порой дитя появится меж нами
С своими светлыми, как ясный день, очами
И с милою усмешкой на устах,
Невольно на челе расходятся морщины,
Мы забываем всё: заботы и кручины,
Волнения и страх.

Светлеет ли кругом весенняя природа,
Иль бурной осени глухая непогода
Стучится в дверь и бьет дождем в окно —
Дитя приблизилось, и в сердце нашем
радость,
Его присутствие во всё вливает сладость,
Им всё озарено.

Беседуем ли мы, обмениваясь в чувствах,
О громких подвигах, свободе и искусствах —
Дитя пришло, и гаснет разговор:
Прощай поэзия, отечество и слава!
Малютки резвого веселая забава
К себе влечет наш взор...

В часы полночные печальна повсеместность:
Безмолвных призраков исполнена окрестность,
Туманна даль, бесцветны небеса;

Но только луч зари осветит неба своды,
Долины, пажити, леса, пригорки, воды —
Всё звуки, всё краса!

Я ночь, а ты, дитя, денницы луч рассветный.
Глазами светлыми, улыбкою приветной
И лепетом прерывистых речей
Ты разгоняешь грусть в моем потухшем взоре;
И горе при тебе становится — не горе,
И как-то веселей..

А это оттого, что взгляд твой полон ласки,
Что на щеках твоих играют жизнь и краски,
Что мысль твоя, как божий день, светла,
Что на челе твоём нет ни единой тучки,
Что белые твои, как снег нагорный, ручки
Не прикасались зла.

Да, это оттого, что ты, по воле бога,
Идешь пока от нас отдельно дорогой,
Невинностью младенческой дыша;
Что ты, не зная нас, во всем нам веришь смело,
Что всё небесное в тебе осталось цело,
Всё — сердце и душа.

Господь! Я шлю к тебе моление живое,
Чтоб я, чтоб даже враг не знал мой, что такое
Без тени сад, поляна без цветов,
Деревья без плода, поля без всходов хлеба,
Без солнца майский день, без звезд ночное небо
И кровля без птенцов.

* * *

С тайной, тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое
сердце!
Что тебя ждет впереди? — Кукла, которая будет
Тешить сначала тебя, а потом эта кукла
наскучит...
После, когда подрастешь, ты сама будешь
куклой для взрослых:
Вырядят в бархат тебя, напоказ вывозить тебя
будут,
Строго тебе запретят обнаруживать чувства
и мысли;
Волю твою окуют (воля всего им опасней!);
Позже, как время придет, по расчету (конечно,
не сердца)
Выдадут замуж тебя. За кого? Не твое это
дело:
Муж твой хорош для других, для тебя и
подавно, не правда ль?
Замужем будешь ты жить; наживешь себе
деток; но детки,
Может быть, выйдут в отца; а отца ты едва ли
любила...
Время не ждет никого... Поглядишь,
неожиданной гостьей

Старость нагрянет к тебе (тяжела эта гостья
не в пору!).
Ты, не живя, отцветешь и брюзгливой
старухою будешь.
Люди при жизни тебя похоронят на сердце,
а после,
Бросивши камень на гроб, никогда не придут
на могилу
Вспомнить про ту, кто была, без сознанья,
страдалица в жизни...

<1846>

* * *

И плакать хочется, и хочется смеяться,
 Как вспомнишь о былом;
Как можно было мне так горько ошибаться
 В самом себе, и в людях, и во всем...

И плакать хочется, и хочется смеяться,
 Когда заглянешь в даль;
Всё манит, кажется, любить и наслаждаться,
 А между тем везде грозит печаль.

<1846>

РОЗА И КИПАРИС

Сказала весенняя Роза:
«Скажи, Кипарис молодой,
Зачем ты зеленой верхушкой
Печально повис надо мной?»
— «Затем, — отвечал он, — чтоб солнце
Тебя опалить не могло
И лучше в тени очертилось
Твое молодое чело...»

<1846>

* * *

When we two parted¹

Когда прощались мы с тобой,
Вздыхая горячо,
Ко мне кудрявой головой
Ты пала на плечо...
В твоих глазах была печаль,
Молчанье на устах...
А мне неведомая даль
Внушала тайный страх...

Росы холодная струя
Упала с высоты —
И угадал заране я,
Что мне изменишь ты...
Сбылось пророчество: молва
Разносит всюду весть,
Что ты священные права
Утратила на честь...

И каждый раз, как слышу я
Об участи твоей,
На части рвется грудь моя
Сильнее и сильней...

¹ Когда мы расстались (англ.). — *Ред.*

Толпа не знает, может быть,
 Про тайный наш союз —
И смело рвет святую нить
 Сердечных наших уз...

Как быть!.. знать, есть всему пора...
 Но плачу я о том,
Что сердцу льстившее вчера
 Промчалось легким сном.
Ах, если где-нибудь опять
 Увижусь я с тобой,
Скажи мне, как тебя встречать? —
 Молчаньем и слезой...

* * *

Не верьте мне, когда среди волнений,
В чаду забав и светских обольщений,
Я веселюсь на взгляд.

Наперекор и сердцу и рассудку,
В угоду одному пустому предрассудку
Я вышел на парад.

Лицо мое от вас скрывает маска,
Готова у меня на ласку та же ласка;
Но в сердце вечный яд.

Так иногда во время зимней стужи
Огнистой радугой блистает лед снаружи,
Тая обычный хлад.

< 1846 >

(ИЗ А. ШЕНЬЕ)

Вдали от сладостных пафосских берегов,
Где молодость моя текла среди пиров,
Я, новый селянин, в долинах Сиракузы
Искал спокойствия и песен тихой музы.
Вот раз явились мне с небесной высоты
Киприда и Амур. Богиня красоты
С улыбкой тихою сказала мне: «Оратай,
Вот сын мой, будь ему наставник и вожатый;
Указывай ему сокрытые пути
И мудростью его рассудок освети...»
От детства я привык богам Олимпа верить:
Я думал, что они не могут лицемерить...
Ребенка принял я—и стал его учить:
Как в сельской тишине блаженство находить,
Как с утренней зари пасти в долине стадо,
Как соки выжимать из гроздей винограда,
Как флейту вырезать из звонких тростников
И в небе следовать за ходом облаков...
Но он рассеян был. Ему казался тесен
Круг знаний пастыря. При звуке этих песен
Он прерывал меня... и пел при звоне струй
Про первую любовь и первый поцелуй,
Про дивную красу гречанок ионийских
И чудных жительниц селений олимпийских,

Про то, как мощный царь подземных царств
Плутон
Красой божественной Венеры был прельщен.
И в песнях тех была такая сердцу сладость,
Что слушать их, учить — была одна мне радость.
Учитель, — я внимал словам ученика,
И с самой той поры нет в мире уголка, —
Брожу ли в поле я, приникну ль к изголовью —
Уста и грудь моя горят одной любовью.

АЮ-ДАГ

(С польского)

Люблю, облокотясь на скалу Аю-дага,
Глядеть, как борется волна с седой волной,
Как, вдребезги летя, бунтующая влага
Горит алмазами и радугой живой,

Как с илистого дна встает китов ватага
И силится разбить оплот береговой;
Но после, уходя, роняет, вместо стяга,
Кораллы яркие и жемчуг дорогой.

Не так ли в грудь твою горячую, певец,
Невзгоды тайные и бури набегают,
Но арфу ты берешь — и горестям конец,

Они, тревожные, мгновенно исчезают
И песни дивные в побеге оставляют,
Из коих для тебя века плетут венец.

<1846>

ТУЧА

Небо чисто после бури, —
Только там, на дне лазури,
Чуть заметна и бледна,
Тучка легкая видна...

От родной семьи изгнанник,
Ты куда несешься, странник?
Где, скажи, в краю каком
Колыбель твоя и дом?

Разольешься ль ты туманом
Над бездонным океаном?
Или мелкою росой
Ты забрызжешь над травой?..

Иль в лазури неба чистой
Ляжешь радугой огнистой
И охватишь, как венец,
Целый мир с конца в конец?..

Или вновь в степях лазури
Ты сзовешь и дождь и бури
И, вернувшись к нам, потом
Принесешь грозу и гром?

<1846>

АНАКРЕОН

Жил в древней Греции певец Анакреон;
 Он с юношеских лет был музам обречен,
 И после, в старости, изведав всё земное,
 Умел он сохранить и сердце молодое,
 И ум возвышенный, и юношеский пыл,
 И крепость здоровья, и бодрость прежних сил.
 Бывало, к молодым вмешавшись в вихорь
 пляски,
 Он пел им про любовь, вино, восторг
 и ласки,
 И звучный стих его, катясь как река,
 Был дорог юноше и свят для старика.
 А ныне от певцов не те мы слышим звуки:
 Их струны издают порывы тайной муки,
 Негодование на жизнь и на судьбу,
 Сомненья с истиной тяжелую борьбу,
 Души расстроеной тяжелые болезни, —
 Для современников полезны эти песни!..

< 1846 >

СОНЕТ

Я думаю: на что облокотиться?
На что теперь осталось взглянуть?
К чему душой и сердцем приютиться?
Чем вылечить мою больную грудь?

Над головой златое небо тмится,
В безвестности теряется мой путь,
Густой туман вокруг меня ложится —
Нет пристани, где б мог я отдохнуть.

Любить — нет сил; надеяться — нет мочи;
Желать — теперь мне кажется смешно:
Желаниям не верю я давно...

Так пешеход, во время поздней ночи,
В неведомую даль стремится напрасно очи:
Вокруг него всё смутно, всё темно...

<1846>

ЛИСТОК

Où va tu? — Je n'en sais rien...¹

С родного дерева отпавший,
На волю преданный грозам,
Скажи, листок полуувядший,
Куда летишь? — Не знаю сам!

С тех пор как дуб упал от бури,
От дружной ветки отлучась,
То я ношусь в степях лазури,
То снова падаю я в грязь.

Я мчусь по прихоти суровой,
Куда влечет меня мой рок,
Куда несется лист лавровый
И легкий розовый листок.

<1846>

¹ Куда летишь? — Не знаю я... (франц.). — *Ред.*

* * *

Я не приду на праздник шумный
К вам, сердцу милые друзья, —
Делиться чувствами безумно
Уже давно не в силах я.
Со мной повсюду неразлучны
Противуречащие сны.
Все ваши радости — мне скучны,
Все ваши горести — смешны. . .

<1846>

В АЛЬБОМ ГРАФИНИ С—КОЙ

Жизнь наша — книга. Много в ней
Найдется сцен разнообразных:
Смешных, нелепых, скучных, грязных,
Тяжелых, вялых и бессвязных,
Как на страницах повестей.
Читать ее — нести вериги,
Прочтя — не выдержишь сказать:
Блажен, кому житейской книги
Не довелось прочитать...

<1846>

* * *

Il est, il est sur terre une
 infernale cuve.
On la nomme Paris...

*A. Barbier*¹

Есть бездна на земле, есть бездна роковая,
Ее зовут: Париж. В три раза обвивая
Бойницы, храмины и царские дворцы,
Река прожелкшая бежит во все концы...
Та бездна день и ночь клокочет и дымится...
Там вечно человек страдает и томится, —
Лохань, в которую стекает с давних пор
Со всех концов земли навозный хлам и сор,
Который, наконец, всё высясь постепенно,
Волной крушительной течет по всей вселенной...

Там только изредка мелькает из-за туч
Зари румяной блеск и солнца яркий луч,
Там с утра до утра на стогнах шум тревожный,
Сну благотворному предаться невозможно;

¹ Есть, есть на земле адская бездна.
Ее называют Парижем...

О. Барбье (франц.). — *Ред.*

И там никто не спит... а мысль и голова
Натянуты у всех, как в луке тетива,
Там каждый жмет других. Без всякого сознания
Нисходят люди в гроб, смеясь над покаяньем;
Там храмы, кажется, остались для того,
Чтоб молвить: был здесь бог, но ныне нет его!

Там столько алтарей погибло в быстром ходе,
Там столько ярких звезд затмилось на восходе,
Там столько юных жатв погибло без плода
И столько гениев, поборников труда,
Исчезло без вести в чаду людских волнений,
Пустых сует земных и горьких убеждений,
Что нынче ничего не любит человек;
Не зная, как убить и в чем убить свой век,
Он прилепляется к одним предубеждениям:
Всё, кроме золота, унижено презреньем...

Увы!.. и после всех бесчисленных толчков,
И после опыта сурового веков,
И после стольких слав и стольких унижений —
И царственных начал, и царственных падений —
Старик, которого мы временем зовем,
Сметающий с земли весь сор своим крылом,
Всё рушащий вконец рукой неумолимой,
Разбивший вдребезги разврат и стены Рима, —
Находит в наши дни такую же лохань,
Куда, как прежде в Рим, течет отвсюду дрянь...

В Париже тот же шум и та же жажда власти,
Готовая дробить отечество на части,

И та же жалкая толпа клеветников,
Глухих сенаторов и ветреных льстецов,
И та ж насмешливость над голосом пророков,
Исполненным любви, надежды и уроков;
И та же суетность в поступках; цель для них:
Жизнь как-нибудь убить на зрелищах пустых,
И, словом, Рим воскрес у нас в Париже снова,
За исключением форм и неба голубого...

О ты, мятежное семейство парижан!
Ты словно человек, который вечно пьян,
Иль блудное дитя, отверженец семейства,
Готовый каждый день на новое злодейство;
Идя по улице, ты хлещешь заодно
Собаку тошую и звонкое стекло...
В вас, детях суетных, нет признака рассудка:
Вы плёете на всё, считая веру шуткой,
И всё, что кажется нам чистым и святым,
Вы называете ничтожным и пустым.

А между тем ты храбр, отважен в бранных
спорах;
Как старый гренадер, ты ешь, глотаешь порох;
И, в сердце затаив к отечеству любовь,
На пулю и на штык ты кинуться готов;
Но только что мятеж у двери запыляет —
Тебя призыв ко злу невольно увлекает.
Бежа из дома в дом трепещущих граждан,
Ты, словно губительный и страшный ураган,
Всё рушишь на пути, всё мечешь в ярый пламень
И даже дерзостно кидаешь в небо камень..,

Французы, ветреный и гибельный народ!
Ты — море бурное, живой водоворот!
Чей голос иногда вселенную тревожит
И всё перевернуть в одно мгновенье может!
Волна, которая, до неба возлетя,
Внезапно падает на землю, как дитя,
Народ единственный, в котором вместе слиты
Пороки юности и старости маститой;
Народ, который всех сызмлада увлекал,
Но свет которого еще не разгадал!

Есть бездна на земле, есть бездна роковая,
Ее зовут: Париж. В три раза обвивая
Бойницы, храмины и царские дворцы,
Река прожелкшая бежит во все концы...
Та бездна день и ночь клокочет и дымится...
Там вечно человек страдает и томится, —
Лохань, в которую стекает с давних пор
Со всех концов земли навозный хлам и сор,
Который, наконец, всё высясь постепенно,
Волной крушительной течет по всей вселенной.

* * *

Что в жизни, если мы не любим никого,
Когда и нас взамен никто любить не может,
Когда в прошедшем мы не видим ничего
И в будущем ничто нам сердце не тревожит?
Тоска, одна тоска! А между тем из нас,
Из жертв, влекущих цепь дней тягостных
и вялых,
Никто с отвагою на смерть не кинет глаз,
Никто не сложит жизнь с рамен своих
усталых.
Не так ли иногда вечернею порой,
Занявшись чтением пустой и глупой сказки,
Зеваем мы сто раз над каждою строкой
И всё-таки идем, упорствуя, к развязке. . .

<1846>

ИЗ ДАНТЕ

На полпути моей земной дороги
Забрел я в лес и заблудился в нем.
Лес был глубок; звериные берлоги

Окрест меня зияли. В лесе том
То тигр мелькал, то пантер полосатый,
То змей у ног, шипя, вился кольцом.

Душа моя была печалью сжата;
Я трепетал. Но вот передо мной
Явился муж, в очах с любовью брата,

И мне сказал: «В вожатого судьбой
Я дан тебе! Без страха, без усилий
Я в черный ад готов идти с тобой».

Слова его дышали слаще лилий
И вешних роз; но я ему в ответ:
«Скажи, кто ты? ..» Он отвечал: «Вергилий».

А я ему: «Так это ты, поэт,
Пленительный, живой и сладкогласный!
Ты, в коем я, от юношеских лет,

Нашел родник поэзии прекрасной!
Учитель мой, подумай, у меня
Довольно ль сил на этот путь опасный?»

Он мне: «Иди! Душевного огня
Не трать в пылу минутного сомненья».
И я пошел... Уже светило дня

Потухнуло. В тумане отдаленья
Тропа едва виднелась между скал...
Но наконец вот — адские владенья.

На воротях Егова начертал:
«Через меня проходят в ту долину,
Где вечный плач и скрежет. Кто упал

Единожды в греховную пучину,
Тот не живи надеждой! Впереди
Он встретит зло, стенанья и кручину».

Почувствовал я страх в моей груди —
И говорю: «Мне страшно здесь, учитель».
А он в ответ: «Мужайся и иди...»

И мы вошли в подземную обитель.
Вокруг меня раздался вопль и стон,
И треск, и шум, и говор-оглушитель...

Я обомлел... «Куда я занесен? —
Подумал я. — Не сон ли это черный?»
Вергилий мне: «Нет, это, Дант, не сон!

Здесь черный ад. Сонм грешных непокорный,
Как облако, летит перед тобой,
В обители мучения просторной. . .»

А я ему: «За что, учитель мой,
Они в аду?» — «За то, что в жизни мало
Они пеклись о жизни неземной.

В них светлых чувств и мыслей доставало,
Чтоб проникать в надзвездные края;
Но воля в них от лености дремала. . .

В обители загробной бытия
От них и бог и демон отступился;
Они ничьи теперь, их жизнь теперь
ничья. . .»

Я замолчал — и далее пустился,
А между тем бесчисленной толпой
Сонм грешников вокруг меня носился,

За ним вослед летел тяжелый рой
Шмелей и ос — они вонзили жало
В лицо и грудь несчастных. Кровь рекой,

С слезами их смешавшись, упала
На жаркий прах, а гадины земли
И кровь, и пот, и слезы их глотали. . .

Мы в сторону от грешных отошли
И с тайною сердечною тоскою
Пустились в путь — и к берегу пришли,

Склоненному над сонною рекою.
Тут встретил нас полуразбитый чёлн,
И в нем старик с сребристой бородою.

Сей старец был бесчувственный Харон,
Всех грешников на злую казнь везущий;
Вглядысь в меня, ко мне промолвил он:

«Зачем ты здесь, в несущем царстве —
суший?»

В моей ладье тебе приюта нет:
С усопшими не должен быть живущий!»

Вергилий же на то ему в ответ:
«Мы с ним идем по тайной воле бога!
Свершай его божественный завет!»

Харон умолк. Мы сели в челн убогий.
И поплыли. Еще с золотых небес
Лились огонь и пурпур. Кормчий строгий

Причалил. Вот мы вышли в темный лес.
Ах, что за лес! Он весь сплелся корнями,
И черен был, как уголь, лист древес.

В нем цвет не цвел. Колючими шипами
Росла трава. Не воздух — смрадный яд
Точил окрест и помавал ветвями...

ОТЧАЯНИЕ

(Из Н. Жильбера)

Безжалостный отец, безжалостная мать!
Затем ли вы мое вскормили детство,
Чтоб сыну вашему по смерти передать
Один позор и нищету в наследство...
О, если б вы оставили мой ум
В невежестве коснеть, по крайней мере;
Но нет! легко, случайно, наобум
Вы дали ход своей безумной вере...
Вы сами мне открыли настежь дверь,
Толкнули в свет из мирной вашей кельи;
И умерли... вы счастливы теперь,
Вам, может быть, тепло на новоселье,
А я? — А я, подавленный судьбой,
Вотще зову на помощь — все безмолвны:
Нет отзыва в друзьях на голос мой,
Молчат поля, леса, холмы и волны.

<1846>

КРУЖКА

(Восточное предание)

Подвигнутый верой, в пример развращенному
веку,
Дервиш вдохновенный пошел в отдаленную
Мекку,
Чтоб там поклониться священному гробу пророка
И глубже проникнуть в глубокие тайны Востока.

Взяв посох и кружку, оставя всех по сердцу
близких,
Пошел и достиг он бесплодных степей
аравийских,
Где, промыслом свыше на доблестный подвиг
хранимый,
Сносил он и голод, и жажду, и зной
нестерпимый.

Раз в полдень, под пальмовой сенью зеленой,
Он видит источник, журчащий волною студеной;
Припав на колено, он жадно пьет чистую влагу,
Впивая с ней вместе и новую жизнь, и отвагу...

Напившись, он кружку наполнил прозрачной
водою
 И дальше пустился песчаной дорогой степною,
 В душе прославляя великую благодать аллаха
 И ключ животворный, рожденный из жгучего
праха.

Идет он... но в полдень мучительно-знойный,
однажды,
 Он снова, усталый, томится от пламенной
жажды —
 И кружку к устам он подносит с отрадой
в пустыне.
 Но влага прогоркла и стала противней полыни... .

Дервиш поневоле и думой и сердцем смутился —
 И к кружке своей он с упреком тогда обратился:
 «Скажи, отчего ты напиток живой отравила
 И едкую горечь студеной воде сообщила?»

Отвечает кружка: «Когда-то... спустя целым
веком
 Была я таким же, дервиш, как и ты, человеком,
 И тоже любила, и тою же грустью терзалась,
 И так же, как ты, я в себе и в других ошибалась,

Я верила в счастье и вечную благодать пророка,
 Но вера и твердость погибли на сердце до срока.
 Томясь, я погибла... и сделалась горсткою пыли;
 Из ней эту кружку смысленные люди слепили,

*

И вот почему я доселе в себе сохраняю
Всю прежнюю горечь и горечью той отравляю
Не только студень и дышащий жизнью напиток,
Но даже надежду и веры священный избыток».

< 1846 >

* * *

Кого любить? Кому доверить
Святыню сердца своего?
Чьим нежным ласкам можно верить
И положиться на кого?

Где друг прямой и беспристрастный,
Который руку нам подаст
И не осудит нас напрасно,
И осудить другим не даст? ..

Где? Как подумаешь об этом,
Так как-то сердцу тяжелей,
И, право, хочется со светом
Расчет окончить поскорей. ..

<1846>

Б***

(При отсылке стихов А. Барбье)

Вот вам Барбье, — его стихи
Облиты желчью непритворной,
Он современные грехи
Рисует краской самой черной;
Он не умеет так, как мы,
Льстецы слепые мнений века,
Хвалить развратные умы
И заблужденья человека.
Богобоязненный пророк,
Не подкупной ничем свидетель,
Он как палач разит порок,
Как гений ценит добродетель.

Вот вам Барбье! Его тоска,
Его железная суровость,
Неосторожность языка
Сначала, может быть, как новость,
Вам не понравятся. Но там,
Вникая в смысл его глубокой,
По сердцу он придется вам:
Вы правду цените высоко. . .

Нагая истина в наш век
Умы болезненно тревожит.
И вдохновенный человек
Не многим тронуть сердце может...

<1846>

* * *

Иные дни — мечты иные:
Нельзя ребенком вечно быть...
Пришлось мне годы молодые
Для настоящего забыть.

Но всё ж, какой-то волей тайной,
Простая песня мужика,
Взгляд, часто кинутый случайно,
Благоухание цветка —

Вся эта ветошь жизни пошлой
Невольно грудь волнует мне
И говорит о жизни прошлой
И о недавней старине!

Толпа живых воспоминаний
Чудесно вьется надо мной:
Вот я дитя... вот сказки няни...
Вот колыбель... вот лес густой...

Тот лес, где я любил когда-то,
В траве, как заяц, притаясь,
Глядеть, как рыщет бес косматый,
За черной ведьмою гонясь;

Как в куще леса чьи-то очи
Огнем горят издалека
И тени сумрачные ночи
Меня касаются слегка.

Любил я слушать звонкий лепет
Вблизи бегущего ручья,
Жужжанье мошки, листьев трепет
И вздох далекий соловья.

Виски горели, билось темя;
Я весь сгорал в живом огне:
Чего не слышал я в то время,
Чего тогда не снилось мне!

Но этот сон недолго длится,
Недолго им согрета грудь;
Передо мной опять ложится
Однообразный жизни путь. . .

4 февраля 1846

ЧЕРДАК

Je viens revoir l'asile où ma
jeunesse
De la misère a subi les leçons.

*P.-J. Béranger*¹

Вот я опять под кровлей незабвенной,
Где молодость в нужде я закалил,
Где в грудь мою проник огонь священный,
Где дружбой я, любовью встречен был.
Душа моя, приличьем не гнетом,
В самой себе вмещала целый свет;
Легко я мог взбежать под кровлю дома:
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Пусть знают все, что жил я там когда-то!..
Вот здесь кровать моя была.. вот стол..
Вот та стена, где песни стих начатый
Я до конца случайно не довел..
Восстаньте вновь, видения святые!

¹ Я снова увижу приют, где моя юность
Несчастливая получала уроки.

П.-Ж. Беранже (франц.). — *Ред.*

Откликнитесь на мой живой привет!
Для вас в те дни закладывал часы я...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Явись и ты, скрываемаемая далью!..
И вот она мерещится опять...
Окно мое завешиваешь шалью
И кофточку кладешь мне на кровать...
Храни, амур, ее цветное платье
И свежесть щек лелей и свежий цвет.
Любовников ее не мог не знать я...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Мои друзья устроили пирушку
В честь подвигов народных наших сил.
Их громкий клик достиг в мою лачужку:
Под Мáренго я знал, кто победил...
Гремит пальба... из сердца песня льется...
Среди торжеств забот и страха нет...
В Париже быть врагу не доведется...
На чердаке нам любо в двадцать лет.

Но полно мне! Прощай, жилье родное!
За миг один увянувшей весны
Я отдал бы всё время остальное,
И опытность, и сны — пустые сны!
Надеждами и славой увлекаться,
На каждый звук в душе искать ответ,
Любить, страдать, молиться, наслаждаться —
На чердаке нам любо в двадцать лет.

10 мая 1846

ПОРТРЕТ

Он неприветлив, но ему
Ты можешь верить сердца тайны,
Он их не выдаст никому,
Не кинет на ветер случайно. . .

Он неприветлив, но когда
Заметит след тоски во взоре,
Он первый встретит вас тогда,
И первый он разделит горе.

Он неприветлив, но зато
Когда полюбит он однажды,
Он не разлюбит ни за что,
А это сделает не каждый.

<1847>

* * *

Жаркое чувство любви ненадолго в душе
остается:
Только что вспыхнет оно и угаснет сейчас же.
Но пепел
Этого чувства души возрождает в нас новое
чувство:
Дружбу, которая нам никогда и ни в чем
не изменит.
Так из простого цветка образуется осенью
поздней
Плод, улаждающий вкус, обонянье и взгляд
человека.

<1847>

Сквозь пурпурных ланит красавицы твоей,
Сквозь милые уста и чудный блеск очей,
Сквозь кожу тонкую пленительного цвета
Тебе почудится костлявый вид скелета.

<1847>

* * *

С невыразимым наслаждением,
С невыразимою тоской
Слежу за речью, за движеньем,
За взглядом, кинутым тобой.

Мне сладко верить, что судьбою
Тебе проложен светлый путь,
Что радость встретится с тобою
Когда-нибудь и где-нибудь. . .

Но грустно то, что, может, случится,
Идя с тобой путем иным,
Мне поневоле не удастся
Упитья счастьем твоим.

Так иногда под небо юга,
В благословенный теплый край
Нам проводить приятно друга,
Но горько вымолвить: прощай!

<1847>

* * *

Ваш жребий пал! Счастливая пора
Для вас прошла... Вы кинули игрушки...
Не тешат вас пустые погремушки,
Которые с утра и до утра
Вас тешили не дальше, как вчера.
Вы нехотя на жизнь открыли глазки,
И что ж нашли? — Несбыточность мечты,
Гонения лукавой клеветы,
В друзьях своих — предательские ласки...

А прежде вы смеялись надо мной,
Вам шуткою моя казалась горечь,
И опыта действительная повесть
Была для вас безумною мечтой,
Воображения болезненной игрой...
Но от меня вас ждет другая плата:
Гонимые от света и молвы,
Во мне одном теперь найдете вы
Сопутника, товарища и брата.

<1847>

СОСЕД

Люблю я искренно соседа...
Он каждый день в мою нору
Приходит утром, до обеда,
Потом заходит ввечеру.

Неистошимые рассказы
Всегда готовы у него:
Про жизнь, про давние проказы
И годы юности его.

Ценитель подвигов народа,
Он любит часто вспоминать
Поход двенадцатого года
И нашей славы благодать...

Про то, как он, горя отвагой,
Искал везде опасных мест,
И награжден за это шпагой,
И получил в петличку крест...

Его восторг и речь живая
Шумит и льется, как поток

.
.

<1847>

* * *

Озябло горячее сердце мое
От стужи дыханья людского...
А с желчным рассудком плохое житье:
Рассудок — учитель суровый!..

Холодным намеком, насмешкою злой
Он душу гнетет и тревожит:
Смеется над каждую светлой мечтой,
А тайны открыть нам не может.

Внушая сомненье почти ко всему,
Он губит в нас волю и силу.
Кто в руки попался однажды ему,
Тот прямо ложится в могилу... .

<1847>

СТРАННИК

Перекрестясь, пустился я в дорогу...
Но надоел мне путь,
Я поглазел довольно, слава богу,
Пора бы отдохнуть...
Не вечно же мне маяться по свету
Бог знает для чего:
Ведь у меня, сказать по правде, нету
По сердцу никого.

Люблю я лес, раскидистое поле,
Люблю грозу и гром,
Да и они прискучат поневоле
Не нынче, так потом...
И для чего, подумаешь, родится
И бродит человек!
Эх! На ночлег скорей бы приютиться!
Да и заснуть навек...

<1847>



Когда, склонившись на плечо,
Ты жмешь мне руку и вздыхаешь
И, веря в счастье горячо,
Ты слишком много обещаешь...
Тебя становится мне жаль,
Я за тебя грущу невольно,
Сжимает сердце мне печаль,
И так мне трудно, так мне больно...

Я говорю тебе тогда:
«Не верь любви моей!.. День со дня
Бледней горит моя звезда...
Не тот я завтра, что сегодня...
По сердцу нашему скользя,
Всё благородное проходит:
Любить всегда одно — нельзя;
День новый — новое приводит...»

И ты, напуганная мной,
Спешишь к груди прижаться крепче...
Заранее зная жребий свой,
Обоим нам как будто легче...
В огне любви, в чаду страстей

Друг другу сладко нам предаться —
Своих послушаться речей,
Своим дыханьем надышаться. . .

Так на египетских пирах,
Держась старинного завета,
С гостями рядом на скамьях
Сажали пыльного скелета —
Затем, чтоб каждый из гостей,
В нем видя жребий свой грядущий,
Дар жизни чувствовал полней
И оценил бы миг текущий.

< 1848 >

* * *

Куда ни посмотришь — повсюду,
Всегда видишь грустные лица:
Не встретишь веселой улыбки,
Веселого взгляда не встретишь...

Захочешь ли вслушаться в речи,
Летучие речи людские, —
В них слышишь какую-то муку
Сомненья, надежды и страха.

Сойдешься ли с искренним другом
И тайны ему поверяешь —
Всё как-то не выскажешь мысли,
Ответа от друга не выждешь...

И трудно, и больно, и горько
Больному с больным встречаться.
Но может ли горе быть вечно?
Ужели границ нет терпенью?

<1848>

* * *

Как весело... идти вослед толпы,
Не разделяя с ней душевных убеждений,
Брать от нее колючие шипы
Ее пристрастных осуждений...

Как весело... на помощь призывать
Пустых надежд звенящие гремушки,
Чтоб после их с презреньем разбивать,
Как бьет дитя свои игрушки...

Как весело... оковы наложу
На каждый шаг, на все движенья сердца,
Бояться вырваться потом из рубежа
С предубежденьем староверца...

Как весело... увлекшись мечтой,
Приискивать в несбыточном возможность,
Чтоб после с горькою усмешкой над собой
Признать вполне ума ничтожность...

Как весело... не веря ничему,
Прикрыв лицо двусмысленною маской,
Наперекор душе, всем чувствам и уму,
Платить коварству мнимой лаской...

Как весело... глубоко любя
И пламенно желая чувств обмена,
Предвидеть нехотя, что ждут в конце тебя
Обыкновенные измены...

Как весело... измучась от борьбы,
По мелочам растратив жизнь и силы,
Просить как милости у ветреной судьбы
Себе безвременной могилы...

<1848>

* * *

Зачем забвенья не дано
Сердцам, алкающим забвенья,
Зачем нам помнить суждено
Ошибки наши и волненья? ..

Зачем прошедшее, от нас
На быстрых крыльях улетевши,
Не может скрыть от наших глаз
Былого плод, давно созревший? ..

Когда б не опыт прежних лет,
Мы шли б по свету без оглядки,
И нас обманывал бы свет. . .
И жизнь была б полна загадки. . .

А ныне, знаний и трудов
Неся тяжелую веригу,
Мы бьемся все из пустяков —
Читаем читанную книгу. . .

< 1848 >

К РЕБЕНКУ

С горячим участием смотрю на тебя я, ребенок!
Как взгляд твой приветлив, как голос твой мягок
и звонок,
Как каждое слово мне в грудь западает глубоко
И как увлекает оно мое сердце далеко...

Что день, за тебя я молюся пред светлой иконой:
Да будет тебе *он* на трудном пути обороной,
Да вечно хранит *он* тебя от житейской невзгоды:
Пускай бы цвела ты средь мира, любви
и душевной свободы...

Но эта молитва едва ли услышится богом!
Я знаю заране, со мной ты сойдешься
во многом...
Летай же покуда, как птичка, от ветки на ветку:
Придет твое время — запрут тебя, бедную,
в клетку.

< 1848 >

ИЗ АПОСТОЛА ИОАННА

Когда пустынный Иоанн,
Окрепнув сердцем в жизни строгой,
Пришел крестить на Иордан
Во имя истинного бога,
Народ толпой со всех сторон
Бежал, ища с пророком встречи,
И был глубоко поражен
Святою жизнью Предтечи.
Он тяжкий пояс надевал,
Во власяницу облекался,
Под изголовье камень клал,
Одной акридою питался. . .
И фарисеи, для того
Чтоб потушить восторг народный,
Твердили всюду про него
С усмешкой дерзкой и холодной:
«Не верьте! Видано ль вовек,
Чтоб кто-нибудь, как он, постился?
Нет, это лживый человек,
В нем бес лукавый поселился!»
Но вот Крестителю вослед
Явился к людям сам Мессия,
Обетованный много лет
Через пророчества святые.
Сойдя с небес спасти людей,

К заветной цели шел он прямо,
Во лжи корил учителей
И выгнал торжников из храма.
Он словом веру зажигал
В сердцах униженных и черствых,
Слепорожденных исцелял
И воскрешал из гроба мертвых;
Незримых язв духовный врач,
Он не был глух к мольбам злодея,
Услышан им Марии плач
И вопль раскаянья Закхея...
И что ж? На площади опять
Учители и фарисеи
Пришли Израиля смущать
И зашипели, словно змеи:
«Бегите ложного Христа!
Пусть он слова теряет праздно:
Его крамольные уста
Полны раздора и соблазна.
И как, взгляните, он живет?
Мирским весь преданный заботам,
Он ест, он бражничает, пьет
И исцеляет по субботам.
Он кинул камень в божество,
Закон отвергнул Моисеев,
И кто меж нас друзья его,
Окроме блудниц и злодеев!»

«Учитель, блудную ее
Должны ль предать мы избиеню?»
— «Кинь камень первым тот в нее,
Кто не причастен согрешенью!» —

И этот вызов вокруг него
Толпу лукавую раздвинул —
И не нашлось ни одного,
Кто б в жертву дерзко камень кинул.

Прошли века с тех пор, как мы
Под благодатью искупленья;
Но наши жесткие умы
Еще далёки обновленья:
Когда к нам грешник приведен,
Мы, судьи, совесть заглушаем
И, столько ж грешные, как он,
В него камнями бросаем.

Творец! Когда ж наступит век
Святого царствия Христова?
Когда обнимет человек
Весь смысл евангельского слова?
И, тщетно жизни не губя,
Пойдет указанной дорогой —
Полюбит ближних, как себя,
И больше всех на свете — бога!

ИЗ ВИКТОРА ГЮГО

*L'enfant chantait...*¹

Ребенок пел... а мать в предсмертных муках
Металась на ложе день-деньской,
И слышались в печально-резких звуках
Ребячья песнь и хриплый стон больной.

Пять только лет тебе, невинный крошка,
Как птичка ты весенняя точь-в-точь,
Весь день поешь, играя у окошка,
А близ тебя мать кашляет всю ночь.

И вот она сошла в могилу скоро...
Дитя же всё по-прежнему поет...
Страданье плод, но плод такой, который
Господь ветвям окрепнувшим дает,

24 июля 1859

¹ Ребенок пел... (франц.). — *Ред.*

МИНОТАВР

(Из Огюста Барбье)

В путь, дети, в путь!.. Идемте!.. Днем,
как ночью,
Во всякий час, за всякую подачку
Нам надобно любовью промышлять;
Нам надобно будить в прохожих похоть,
Чтоб им за грош сбывать уста и душу...

Молва идет, что некогда в стране
Прекрасной зверь чудовишный явился,
Рыкающий, как бык, железной грудью;
Он каждый год для ласк своих кровавых
Брал пятьдесят созданий — самых чистых
Девиц... Увы, число огромно, боже!
Но зверь другой, покрытый рыжей шерстью,
Наш Минотавр, наш бык туземный —
Лондон,

В своей алчбе тлетворного разврата
И день и ночь по тротуарам рыщет;
Его любви позорной ежегодно
Не пятьдесят бывает надо жертв —
Он тысячи, обжора, заедает
И лучших тел, и лучших душ на свете...
«Увы, одни растут в пуху и шелке,
Их радостей источник — добродетель.

А я, на свет исторгнувшись из чрева
Плодливой матери, попала в руки
К оборванной и грязной нищете. . .
О нищета, советчица дурная,
Безжалостная! . . . Сколько ты
Под кровлею убогого жилища
Сбираешь жертв пороку! . . . На меня
Ты кинулась не вдруг, а дождалась
Моей весны. . . Когда ж румянец свежий
Зардел в щеках и кудри золотые
Рассыпались по девственным плечам,
Ты тотчас же мой угол указала
Тому, чей глаз, косою и кровожадный,
Искал себе добычи сладострастья. . .»
— «А я была богата. . . У богатых
Есть также бог, который беспощадно
Своей ногой серебряной их давит:
Приличие; оно холодным глазом
Нашло меня своей достойной жертвой
И кинуло в объятья человека
Бездушного. А я уже любила. . .
О той любви узнали, только поздно. . .
От этого я пала глубоко,
Безвыходно. Нет слез таких, нет силы,
Которая б извлечь меня могла
Из пропасти. Ступивши в грязь порока,
Нога скользит и выбиться не может.
Да, горе нам, несчастным магдалинам!
По городам, от века христианским,
Не много есть таких людей отважных,
Которые бы нам не побоялись
Подать руки, чтоб слезы с глаз стереть. . .»

— «Я, сестры, я не грязным сластолюбьем
Доведена до участи моей.
Иное зло, с лицом бесстыдной самки,
Исчадие гордыни и тщеславья,
Чудовище, которое у нас,
Различные личины принимая,
Влечет, что день, семейство за семейством
От родины, бог весть в какие страны,
Суля им блеск взамен того, что есть,
А иногда взамен и самой чести.
Отец мой пал, погнавшись за корыстью;
Он увидал в один прекрасный день,
Как всё его богатство, словно пена,
Морской волной разметано. С нуждой
Я не была знакома. Труд тяжелый,
Дающий хлеб, облитый нашим потом,
Казался мне невыносимо страшен...
И я, сходя с ступени на ступень, —
Изнеженная жертва! — пала в пропасть
Бездонную...» — «Стенайте, плачьте, сестры!
Но как бы стон и плач ваш ни был горек,
Как ни была б печаль едка, — увы! —
Моя печаль, мой плач живет ваших.
У вас они текут не из святого
Источника любви, как у меня.
О, для чего любовь я испытала?
Зачем злодей, которому всецело
Я отдала неопытное сердце,
Увлек меня из-под отцовской кровли
И, не сдержав обещанного слова,
Пустил меня по свету мыкать горе?
Агари был в пустыню послан ангел

Спасти ее ребенка. Я ж одна,
Без ангела-хранителя, невольно,
Закрыв глаза, пошла на преступленье,
Чтоб как-нибудь спасти свое дитя...»

А между тем нам говорят: «Ступайте,
Распутницы!..» И жены, наши сестры,
На улице встречаясь с нами, с криком
Бегут от нас. Мы им тревожим мысли,
Внушаем страх! Но, в свой черед, и мы
Всею силою души их ненавидим.
Ах! нам порой так горько, что при всех
Хотелось бы вцепиться им в лицо
И разорвать в клочки на лицах кожу...
Ведь знаем мы, что их священный ужас —
Ничто, как страх упасть во мненьи света
И потерять в нем прежнее значенье;
Страх этот мать семейства дочерям
Передаёт, едва ль не с первой юбкой.

Но для чего в проклятиях и столах
Искать себе отмщенья? Эти камни
Посыпятся на нас же. У мужчин
На привязи, в презрении у женщин,
Что ни скажи — мы будем всё неправы
И участи своей не переменим...
Нет, лучше нам безропотно на свете
Роль тяжкую исчерпать до конца;
По вечерам, в блистающих театрах,
Сгонять тоску с усталого лица;
Пить джин, вино, чтоб их хмельною влагой

Жизнь возбуждать в своем измятом теле
И забывать о страшном ремесле,
Которое страшнее мук кромешных...
Но если жизнь для нас, несчастных, — тень,
Земля — тюрьма, так смерть зато нам легче:
В трущобах нас она не мучит долго,
А захватив рукой кой-как, без шума,
Бросает всех в одну и ту же яму.
О смерть! Твой вид и впалые глаза,
Как ни были б ужасны людям, мы
Твоей руки костлявой не боимся:
Объятия твои нам будут сладки,
Затем что в миг, когда в нас жизнь потухнет,
Как коршуны, далеко разлетятся
Все горести, точившие нам сердце,
И тысячи других бичей, чьи когти
В клочки гнилья с нас обрывали тело.
В путь, сестры, в путь! Идемте... днем, как
ночью,
За медный грош любовью промышлять...
Таков наш долг: мы призваны судьбою
Оградой быть семейств и честных женщин!..

СОВЕСТЬ

(Из Огюста Барбье)

О бог мой, сколько здесь губительных путей,
По коим каждый день идет толпа людей,
Какое множество страдальцев бесприютных,
Без света, без тепла и в нуждах поминутных;
Какая тьма существ, терзаемых судьбой,
От колыбельных дней до двери гробовой —
Всех жертв не перечесть!.. И видеть их так

больно,

Что с уст срывается проклятие невольно.
Но между тем порой задерживаешь стон,
Внезапно будучи глубоко поражен
Тем странным зрелищем, что мученики эти,
Стада невольников, запутанные в сети,
Мильоны голышей, лишённые всех благ,
Не отступают прочь от долга ни на шаг.
О совесть светлая, источник чувств небесных,
Исторгнувшая нас из ряда бессловесных!
Недаром ты судьбой положена нам в грудь;
Ты в этом омуте, конечно, что-нибудь —
Не признак суетный людского произвола,
Не слово праздное, придуманное школой, —
О нет, стократно нет! Для этой тьмы людей,
Немых, затерянных среди земных путей,

ИЗ В. ГЮГО

Земля кремнистая, холодная, скупая,
Где, пот и кровь свою обильно проливая,
Из одного куска насущного весь век
В трудах и горестях томится человек;
Где человек и сам черствеет, словно камень;
И где из городов заметно со дня на день
Бежит всё лучшее, что только в мире есть:
Свобода, Правота, Любовь, Покой и Честь;
Где гордость — общий бог; где заступом
могильным
Слепая смерть грозит и сильным и бессильным;
Где высота — там мрак; где золото — там всё
Вертится перед ним, как будто колесо;
В лесах — свирепый волк; в селеньях — лютый
голод;
Здесь зной тропический, а там полярный холод;
Среди взволнованных грозой морских зыбей
Везде виднеются обломки кораблей,
А на полях кругом мятеж толпы голодной
Иль зарево войны кровавой и бесплодной;
Пожарища и стон повсюду в городах...
И это, это всё — звезда на небесах!

< 1862 >

Н. Д. П<УЩИН>ОЙ

Добро бы жить как надо — человеком!
И радостно глядеть на свой народ,
Как, в уровень с наукою и веком,
Он, полный сил, что день, идет вперед.

Как крепко в нем свободное начало,
Как на призыв любви в нем чуток слух,
Как десяти столетий было мало,
Чтоб в нем убить его гражданский дух...

Добро б так жить! Да, знать, еще не время...
Знать, не пришла для почвы та пора,
Чтоб из нее ростки пустило семя
Народности, свободы и добра.

Но всё же мы уляжемся в могилы
С надеждою на будущность земли,
С сознанием, что есть в народе силы
Создать всё то, чего мы не могли.

Что пали мы как жертвы очищенья,
Взойдя на ту высокую ступень,
С которой видели начатки обновленья
И чуяли давно желанный день!..

<1862>

ИЗ БАРБЬЕ

О горькая бедность!
Ты, взявшая с искони века
В свое обладанье
Из божиих рук человека,

Губительный призрак,
Играющий жертвой бессильной,
От дней колыбельных
До сумрачной двери могильной,

Ты, пьющая жадно
Кровавые слезы людские,
От века глухая
На стоны и вопли живые. . .

О мать всех бедствий!
Я звал тебя часто к ответу
И все твои язвы,
Как в зеркале, выставил свету, —

Затем, чтобы каждый,
В груди чьей не камень положен,
Увидя твой образ,
Был тайною думой встревожен.

Чтоб мог он глубоко
Проникнуться теплым участием
К бесчисленным жертвам,
Гонимым нуждой и несчастьем,

И, гнев поборовши,
Уста ограда от проклятий,
Считал бы за долг свой
Прощать осуждаемых братьев.

О горькая бедность!
Дай бог моим песням успеха,
Пусть они всюду
Пробудят ответное эхо...

Пусть отзовется
На клич мой толпа благородных
Поборников дела —
За черное племя голодных!

Пора вдохновенным
Слить дружно свой голос скорбящий
И стать против язвы,
Людей миллионы губящей...

Пора лютый голод
Изгнать навсегда из-под неба
И с братской любовью
Дать каждому рту кусок хлеба...

Пора бесприютным,
Чтоб в мире их что-нибудь грело,
Дать на зиму шерсти
Прикрыть свое зябкое тело.

Гнетущая бедность!
Из рук твоих, жадных от века,
Пора бы всецело
Извлечь бедняка человека. . .

Но тщетно! В юдоли
Стенаний и горького плача
Едва ль разрешима
Великая эта задача.

Как ум наш ни бейся
В тенётах труда и науки,
Чтоб как-нибудь братьям
Смягчить их тяжелые муки, —

Увы! бедным жертвам,
Идущим житейской дорогой,
На страже в грядущем
Страданий так много, так много,

Что робкое сердце людское,
Далеко предела земного,
Искать будет вечно
И мира и быта иного. . .

* * *

Кто стал, помимо вечных лжей,
Герольдом истины свободной,
Тот в общем мненьи враг людей,
Отступник веры, бич народный.

Как мы ценили правоту?
Какую ей давали плату?
Ведь все кричали: «Смерть Христу!»
«Смерть оболъстителю Сократу!»

И Галилей за то, что он
Мир двинул с места, был оплеван.
Судьба! вникая в твой закон,
Я вижу, наш успех основан

На том, что лучший из людей
Обязан крест принять на долю,
Отдать нам в жертву свет очей,
Всю душу, сердце, разум, волю,

Трудиться ночь и день-деньской,
Лить пот и кровь свою для брата,
И, наконец, за подвиг свой
Стяжать название ренегата. . .

<1863>

* * *

Что миг — то новые удары,
Что день — то новая беда:
Там мятежи, а здесь пожары,
Повсюду ропот и вражда. . .

Недаром вызваны явленья,
Но до поры молчит судьба, —
Начатки ль это возрожденья
Или предсмертная борьба?

Быть может, вспыхнет дух народный
Любовью к правде и труду,
И мы стезею благородной
Пойдем со всеми наряду.

А может быть, на повороте
С дороги сбившись, мы опять
Завязнем по уши в болоте
И не вперед пойдем, а вспять. . .

Нет, прочь сомненья! Горькой доле
Настал теперь последний час.
Для пышных жатв готово поле,
И пахарь добрый есть у нас. . .

1863

СМЕХ

(Из Барбье)

1

Мы всё утратили, всё, даже смех радушный
С его веселостью и лаской простодушной,
Тот смех, который встарь, бывало, у отцов,
Из сердца вырвавшись, гремел среди пиров.
Его уж нет теперь, веселого собрата:
Он скрылся от людей, и скрылся без возврата...
А был он, этот смех, когда-то добрый кум!
Наш смех теперешний — не более как шум,
Как вопль, исторгнутый знобящей лихорадкой,
Рот искажающий язвительною складкой.
Прощайте ж навсегда и песни и любовь,
Вино и громкий смех, — вы не вернетесь вновь!
В наш век нет юношей румяных и веселых,
Во славу красоте дурачиться готовых;
Нет откровенности, бывалой в старину, —
При всех поцеловать не смеет муж жену;
Шутливому словцу дивятся, словно чуду;
Зато цинизм теперь господствует повсюду,
Желчь льется с языка обильною струей;
Насмешка подлая шипит над нищетой,
Повсюду, как в аду, у нас зубонный скрежет:
Смех не смешит людей — нет, он теперь их
режет...

О смех! Чтоб к нам прийти с наморщенным челом,
 Каким доселе ты кровавым шел путем?
 Твой голос издавна там слышался, бывало,
 Где всё в развалинах дымилось и пылало...
 Он резко пробегал над нивой золотой,
 Когда по ней толпу водили на разбой;
 На стенах городских, неожиданно, без причины,
 Он слышался сквозь стук ударов гильотины;
 Он часто заглушал и стон и громкий плач,
 Когда за клоч волос тряс голову палач...
 Вольтер, едва живой, но полный страшной силы,
 Прощаясь с жизнью, смеялся у могилы —
 И этот смех его, как молот роковой,
 В основах потрясал общественный наш строй.
 С тех пор под тяжестью язвительного смеха
 Ничто прекрасное не жди у нас успеха!

Увы! беда тому, в ком есть святой огонь,
 Кто душу положить хотел бы на ладонь!
 Беда, сто раз беда той музе благородной,
 Которая, избрав от детства путь свободный,
 Слепая к призракам мишурной суеты,
 Полюбит идеал добра и красоты!
 Смех, безобразный смех — людской руководитель,
 Всего прекрасного завистливый гонитель,
 Как язва кинется внезапно на нее,
 Запутает в сетях, столкнет с пути ее...
 И тщетно, бедная, сбирала бы усилья

Широко развернуть израненные крылья
И песнью в небесах подслушанной своей
Затронуть заживо больную грудь людей, —
Увы, на полпути, лишенная надежды,
Поникнув головой, сомкнув печально вежды,
Она падет с небес... А там, на краткий срок
Забившись где-нибудь в безвестный уголок,
Оплакивая жизнь, но с жизнью не споря, —
Умрет до времени с душою, полной горя...

<1864>

* * *

Блаженны нищие духом, ибо
их есть царствие небесное.

Европа движется... Над ней
Громады черных туч нависли,
Там жизнь всецело у людей
Обречена труду и мысли.

А мы в родных своих степях,
Храня преданья вековые,
Живем, как пташки в небесах
Иль как лилеи полевые.

Нет хлеба — мы кору едим;
Сгорит изба — ночуем в поле;
Обидит кто-нибудь — молчим,
Во всем предавшись божьей воле.

<1869>

ПРОЛЕТ ПЧЕЛ

(Из Огюста Барбье)

Меж тем как в знойный день, придя на край
долины,
Усталый, я прилег под склон дерев густой,
Прозрачным облаком веселый рой пчелиный
Вился передо мной.

Невольно их полет, то медленный, то быстрый,
Привлек к себе мой слух и мой пытливый взор:
На солнце крылья пчел горели словно искры,
И звучен был их хор.

Куда они летят? Туда, где дышит летом,
Где пестрые цветы свой тонкий запах льют...
Как только что восток блеснул румяным светом,
Они взялись за труд.

О пчелы, мелкие, но умные создания!
Судьба дала вам всё: звук, краски и полет,
И лучшее из всех на свете дарованье —
Отвсюду черпать мёд.

И вы даров небес не тратите напрасно:
Работаете вы без отдыха в тиши —
Вот почему у вас плоды трудов прекрасны,
Чудесно-хороши.

* * *

Нет, нет, без веры жить нельзя!
Но не без той бесплодной веры,
Что, по житейскому скользя,
Летит в заоблачные сферы.

Даль безответна и темна
За рубежом глухой могилы:
Нам вера в нас самих нужна,
Нужна нам вера в наши силы.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Алексей Николаевич Плещеев родился в 1825 году. Его отец, принадлежавший к старинному дворянскому роду, служил чиновником при архангельском, вологодском и олонецком генерал-губернаторе.

В 1843 году Плещеев поступил на восточный факультет Петербургского университета, где обратил на себя внимание ректора П. А. Плетнева, друга Пушкина, продолжавшего после его смерти издание «Современника». Плетнев в 1844 году напечатал несколько стихотворений молодого поэта в «Современнике», но вскоре охладел к нему. В одном из писем он заметил: «Как эти молодые люди заражены доктриною Краевского», подразумевая под этим направление журнала «Отечественные записки»¹, которое было ему придано Белинским.

Вскоре Плещеев познакомился с некоторыми членами кружка русских социалистов-утопистов, а затем и самим Петрашевским. В 1846 году вышел первый сборник стихотворений Плещеева, в котором нашли яркое отражение общественно-литературные позиции автора. Плещеев явился одним из организаторов обособившегося «дуров-

¹ А. А. Краевский издавал этот журнал.

ского» кружка, ставившего своей целью конспиративную пропаганду литературы. На собраниях кружка он читал запрещенные цензурой статьи и французские газеты. Находясь в Москве, он писал своим друзьям о «рукописной литературе», распространявшейся в списках, упоминал о людях, «сочувствующих нашим мыслям о способах деятельности». Тогда же он прислал из Москвы только что появившееся в списках письмо Белинского к Гоголю, пьесу Герцена «Перед грозой» и запрещенную цензурой пьесу Тургенева «На хлебник». Письмо Белинского, прочитанное в кружках Петрашевского и Дурова, послужило главным поводом для обвинения Плещеева.

Плещеев был арестован несколько позднее других петрашевцев — 28 апреля 1849 года, так как находился в Москве. Он был приговорен к четырем годам каторжных работ. Тем не менее 22 декабря его вместе с товарищами по кружку вывели на эшафот, где он стоял рядом с Достоевским и Дуровым. Окончательный приговор гласил: «рядовым в оренбургские линейные батальоны». В январе 1850 года Плещеев был привезен в Уральск и около двух лет провел в казармах Оренбургского линейного батальона. Затем его перевели в самый Оренбург, где положение поэта было значительно облегчено. После нескольких лет военной службы он получил чин прапорщика, в 1856 году вышел в отставку и перешел на гражданскую службу.

В 1858 году Плещеев вернулся из ссылки и возобновил старые литературные связи. Он сбли-

зился с редакцией журнала «Современник» и его руководителями — революционными демократами Чернышевским и Добролюбовым. В плещеевских стихах этого времени начинают отчетливо звучать некрасовские мотивы и интонации. В рецензии на сборник стихотворений Плещеева 1858 года, появившийся после возвращения его из ссылки, Добролюбов писал о праве поэта «на упоминание в будущей истории русской литературы». Следующая книга его стихотворений (1861) также была сочувственно встречена «Современником»; М. Л. Михайлов с особенной симпатией отметил произведения, перепечатанные из раннего сборника 1846 года, и указал на их значительную роль в русской поэзии 40-х годов.

В 1872 году Плещеев был секретарем редакции некрасовских «Отечественных записок», где заведовал также отделом поэзии. Умер он в Париже, во время заграничной поездки, в 1893 году.

ПЕСНЯ СТРАННИКА

(Из Рюккерта)

Тени гор высоких
На воду легли;
Потянулись чайки
Белые вдали.

Тихо всё... томленьем
Дышит грудь моя...
Как теперь бы крепко
Обнял друга я!

Весело выходит
Странник утром в путь;
Но под вечер дома
Рад бы отдохнуть.

<1844>

ДУМА

«Да помилюйте: наши предки так делали, а разве они были глупее нас?»

Подслушанная фраза

Vieux soldats de plomb que nous sommes.
Au cordeau nous alignons tous.
Si des rangs sortent quelques hommes,
Tous nous criions: à bas les foux!

Béranger. „Les Foux“¹

Как дети иль рабы, преданию послушны,
Как часто в жизни мы бываем равнодушны
К тому, что сердце нам должно бы разрывать,
Что слезы из очей должно бы исторгать.
Мы плакать не хотим, мы не хотим терзаться
И предрассудкам казнь в сомнениях искать;
Не лучше ль слепо им во всем повиноваться,
А в бедствиях судьбу спокойно обвинять!
И, мимо жертв идя шумящею толпою,
Вздыхать и говорить: «Так велено судьбою!»

¹ Мы только старые оловянные солдатки, всех равняющие в ряды по шнуру. Если выйдет кто-нибудь из рядов, все мы кричим: долой безумцев!

Беранже. «Безумцы» (франц.). — Ред.

Когда же совесть вдруг, проснувшись, скажет нам:
«Виновник бед своих — ты, жалкий смертный,
сам...»

Ты глух, как истукан, на глас мой оставался
И, призрака создав, ему повиновался!»
Вопль сердца заглушить мы поспешим скорей,
Чтобы не отравить покоя наших дней!
Когда ж среди толпы является порою
Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах, —
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...
Ей кажется стыдом речам его внимать,
И, вдохновенный, он когда начнет вещать, —
С насмешкой каждый прочь, махнув рукой,
отходит.

.....

НА ЗОВ ДРУЗЕЙ

(С французского)

К чему ваш зов, друзья? Тревожною тоскою
Веселый, шумный пир к чему мне отравлять?
В восторженных стихах, за влагой золотою
Давно уж Вакха я не в силах прославлять!

Не веселит меня разгульное похмелье,
И не кипит во мне отвагой прежней кровь;
Исчезло дней былых безумное веселье,
Исчезла дней былых безумная любовь!

А кажется, давно ль, исполнен упованья,
В грядущее я взор доверчиво вперял,
И чужды были мне сомненья и страданья,
И, простодушный, я о счастье помышлял.

В ужасной наготе еще не представляли
Мне бедствия тогда страны моей родной,
И муки братьев дух еще не волновали;
Но ныне он прозрел, и чужд ему покой!

Вхожу ли я порой в палаты золотые,
Где в наслажденьях жизнь проводит сибарит,

Гляжу ль я на дворцы, на храмы вековые, —
Всё мне о вековых страданиях говорит.

Сижу ли, окружен шумящею толпою,
На пиршестве большом, — мне слышен звук
цепей;
И предстает вдали, как призрак, предо мною
Распятый на кресте божественный плетей!..

И стыдно, стыдно мне... от места ликования,
Взволнован, я бегу под мой смиренный кров;
Но там гнетет меня ничтожества сознание,
И душу всю тогда я выплакать готов.

Блажен, кто прожил век без горя и сомненья,
Кто взоры устремлял с надеждой к небесам;
Но я о счастье том не знаю сожаленья, —
И за него моих страданий не отдам!

О, не зовите ж вы меня — я умоляю, —
Веселые друзья, на шумный праздник ваш:
Уж бога гроздий я давно не прославляю,
И не забьтсья мне под говор звонких чаш.

МОЛИТВА

(Из Гёте)

О мой творец! о боже мой,
Взгляни на грешную меня;
Я мучусь, я больна душой,
Изрыта скорбью грудь моя;
О мой творец, велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Кипела в нем младая кровь;
Была чиста его любовь,
Но он ее в груди своей
Таил так свято от людей.
Я знала всё... О боже мой,
Прости мне, грешной и больной.

Его я муки поняла;
Улыбкой, взором лишь одним
Я б исцелить его могла,
Но я не сжалилась над ним.
О мой творец, велик мой грех,
Я на земле преступней всех!

Томился долго, долго он,
Печалью тяжкой удручен;

И умер, бедный, наконец.
О боже мой, о мой творец,
Тронися грешною мольбой...
Взгляни, как я больна душой!

< 1845 >

СТРАННИК

Oh, quand viendra-t-il donc ce
jour que je revais,
Tardif réparateur de tant de jours
mauvais?
Jamais, dit la raison...

H. Moreau

Всѣ тихо... Тополн над спящими водами,
Как призраки. стоят, луной озарены;
Усеян свод небес дрожащими звездами,
В глубокий сон поля и лес погружены;

Воздушные струи полны ночной прохладой,
Повеял мне в лицо душистый ветерок...
Уж берег виден стал... и дышит грудь
отрадой —
Быстрей же мчи меня, о легкий мой челнок!

Я вижу, огонек мелькнул между кустами
И яркой полосой ложится на реке;

1 Ах, когда же он придет, тот день, о котором
я грезил,
Запоздалое возмещение стольких тяжелых дней?
Никогда, говорят рассудок...

Э. Моро (франц.). — Ред.

Скитальца ль ждешь к себе, с томленьем
и слезами,
Ты, добрый друг, в своем уютном уголке?

С молитвой ли стоишь пред чистою мадонной
И слышен шепот твой в полночной тишине;
Иль, может, рвешь листки ты розы благовонной,
Как Гретхен Фауста, гадая обо мне?

Услышав плеск волны, с улыбкой молодою
Ты другу выйдешь ли навстречу в темный грот,
Где, к моему плечу прикинув головою,
Ты говорила мне, бывало: «День придет,

И близок он, когда ни горя, ни страданий
Не будет на земле!» Нет, он далек, дитя;
И если б знала ты, как много упований,
Прекрасных и святых, с тех пор утратил я.

Ты помнишь ли, как мы с тобою расставались,
Как был я духом бодр, как полон юных сил!
Но вот разлуки дни, как грезы, миновались;
Отчизну и тебя я снова посетил!

И что ж? Утомлена бесплодною борьбою
Уже душа моя. Потух огонь в глазах;
И впала грудь моя, истерзана тоскою,
И не пылает кровь румянцем на щеках.

Я слышал ближних вопль, я видел их мученья,
Я предрассудка власть повсюду находил;

И страшно стало мне! И мрачный дух сомненья,
Ужасный дух, меня впервые посетил!

Бессилие мое гнетет меня всечасно;
Уж холод в сердце мне, я чувствую, проник;
И я спешу к тебе, спешу, мой друг прекрасный,
В объятиях твоих забыться хоть на миг!

Сгустилась ночи тьма над спящими водами,
Повеял мне в лицо душистый ветерок,
Усыпан свод небес дрожащими звездами,
Быстрее же к берегам носи меня, челнок!

< 1845 >

ЛЮБОВЬ ПЕВЦА

На грудь ко мне челом прекрасным,
Молю, склонись, друг верный мой!
Мы хоть на миг в лобзании страстном
Найдем забвенья и покой!
А там, дай руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам, в борьбе с судьбою,
Мольбы о счастье не пошлем...
Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил,
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!
Страдать за всех, страдать безмерно,
Лишь в муках счастье находить,
Жрецов Ваала лицемерных
Глаголом истины разить.
Провозглашать любви ученье
Повсюду — нищим, богачам —
Удел поэта... Я волнений
За благо мира не отдам.
А ты? В груди твоей мученья
Таятся также — знаю я, —

И ждет не чаша наслажденья —
Фиал 'отравленный тебя!

Для страсти знойной и глубокой
Ты рождена — и с давних пор
Толпы бессмысленной, жестокой
Тебе не страшен приговор.
И с давних пор, без сожаленья
О глупом счастье дней былых,
Страдаешь ты, одним прощеньем
Платя врагам за злобу их!
О, дай же руку — и с тобою
Мы гордо крест наш понесем,
И к небесам, в борьбе с судьбою,
Мольбы о счастье не пошлем!..

<1845>

СОСЕД

Скучно, грустно мне; в окошко
Небо серое глядит;
За стеной соседа песня
Вечно грустная звучит.

Кто сосед мой одинокий,
И о чем тоскует он?
Иль судьбою прихотливой
Он с подругой разлучен?

Об отчизне ли далекой,
Об отваге ль прошлых дней
Вспоминает он, унылый,
В тесной комнатке своей?

Утомил его, быть может,
Жизни долгий, скучный путь
И, как я, скорей хотел бы
Странник бедный отдохнуть?

Кто б ты ни был, эти звуки
В душу мне отраду льют.
Пой, сосед!.. Но, видно, слезы
Кончить песни не дают.

Вот затих он, и, как прежде,
Всё вокруг меня молчит,
И в окно мое печально
Небо серое глядит.

1845



Когда я в зале многолюдном,
Тревогой тайною томим,
Внимаю Штрауса звукам чудным,
То полным грусти, то живым;
Когда пестреет предо мною
Толпа при свете ярких свеч;
И вот, улыбкой молодою
И белизной прозрачных плеч
Блистая, ты ко мне подходишь,
В меня вперяя долгий взор,
И разговор со мной заводишь,
Летучий, бальный разговор...
О, отчего так грустно, больно
Мне станет вдруг... Тебе едва
Я отвечаю, и невольно
На грудь клонится голова.
И всё мне кажется, судьбою
На муки ты обречена;
Что будет тяжкою борьбою
И эта грудь изнурена;
Что взор горит огнем страдания,
Слезу напрасно затая;
Что безотрадное рыданье
За смехом звонким слышу я!

И жаль мне, жаль тебя — и слезы
Готовы кануть из очей...
Но это всё больные грезы
Души расстроенной моей!
Прости мне, друг; не зная скуки,
Забыв пророческую речь,
Кружись, порхай под эти звуки
При ярком свете бальных свеч!

СОН

(Отрывок из неоконченной поэмы)

La terre est triste et dessechée;
mais elle reverdira. L'haleine
du mechant ne passera pas éter-
nellement sur elle, comme un
souffle qui brûle.

„Paroles d'un croyant“.¹

Истерзанный тоской, усталостью томим,
Я отдохнуть прилег под явором густым.

Двурогая луна, как серп жнеца кривой,
В лазурной вышине сияла надо мной.

Молчало всё кругом... Прозрачна и ясна,
Лишь о скалу порой дробилася волна,

В раздумье слушал я унылый моря гул,
Но скоро сон глаза усталые сомкнул.

¹ Земля печальна и иссушена; но она снова зазеленеет. Дыхание злого не будет вечно проноситься над нею, как палящее дуновение. «Слова верующего» (франц.). — Ред.

И вдруг явилась мне, прекрасна и светла,
Богиня, что меня пророком избрала.

Чело зеленый мирт венчал листьями ей,
И падал по плечам златистый шелк кудрей.

Огнем любви святой был взор ее согрет,
И разливал на всё он теплоту и свет.

Благоговенья полн, лежал недвижим я
И ждал священных слов, дыханье притая.

Но вот она ко мне склонилась и рукой
Коснулась слегка груди моей больной.

И наконец уста разверзлися ее,
И вот что услышал тогда я от нее:

«Страданьем и тоской твоя томится грудь,
А пред тобой лежит еще далекий путь.

Скажу ль я, что тебя в твоей отчизне ждет?
Подымет на тебя каменья твой народ

За то, что обвинишь могучим словом ты
Рабов греха, рабов постыдной суеты!

За то, что возвестишь ты мщенья грозный час
Тому, кто в тине зла и праздности погряз!

Чье сердце не смущал гонимых братьев стон,
Кому законом был отцов его закон!

ПОЭТУ

Le poète doit être un protestant
sublime
Du droit et de l'humanité.

*A. Barbier*¹

Кто не страдал святым страданьем,
Кто горьких слез не проливал,
Томимый тщетным ожиданьем
Увидеть вечный идеал;
Кто на покой и наслажденья
Души тревоги променял;
В пророков истины каменья
В угодность черни кто бросал;
Кто равнодушно видел муки,
Стон слышал брата своего,
И в ком цепей тяжелых звуки
Не пробуждали ничего;
Кто сам, преданья раб послушный,
Готов оковы был носить
И вопли сердца малодушно
В забавах света заглушить, —

¹ Поэт должен быть возвышенным мятежником
Во имя права и человечности.

О. Барбье (франц.). — *Ред.*

Тот не поймет твоих созданий,
Любовью дышащих святой,
И в жизнь иную упований
Не разделить ему с тобой!
И много их в толпе найдется,
Злых фарисеев и глупцов,
Живущих мыслями отцов,
В ком речь твоя не отзовется;
Но ты иди прямой дорогой,
Привычной, смелою стопой;
Когда в душе сокровищ много,
Не расточай их пред толпой;
Но будь гонимых утешитель,
Врагам озлобленным прости,
И верь, что встретишь, как Спаситель,
Учеников ты на пути.

Но будет время... пронесутся
Дни бедствий, горя и тревог;
Жрецы Ваала ужаснутся,
Когда восстанет правды бог!
Навеки в мире водворится
Священной истины закон,
И гордых власть пред ним смирится,
И смолкнет ненависть племен.

• • • • •
• • • • •

Да, верь: любви и примиренья
Пора желанная придет,
И мир, прозрев, твое ученье
Тогда великим назовет.

* * *

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим,
И поведем на битву раты!

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах;
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!..

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам,
И за него снесем гоненье,
Простив безумным палачам.

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил;
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл!

Пусть нам звездою путеводной
Святая истина горит;
И, верьте, голос благородный
Недаром в мире прозвучит!

Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил!

ОТВЕТ

Мы близки друг другу... я знаю,
Но чужды по духу... Любви
Давно я к тебе не питаю,
И холодны речи мои...

Не в силах я лгать пред тобою,
А правда страшна для тебя...
К чему же бесплодной борьбою
Всечасно терзать нам себя?

В кумирах мне бога не видеть,
Пред ними чела не склонить!
Мне всё суждено ненавидеть,
Что рабски привыкла ты чтить!

Кто истине, верный призванью,
Себя безвозвратно обрек, —
И дом и семью без роптанья
Оставит, сказал нам пророк...

О, верь мне, напрасны упреки:
Расстаться нам должно с тобой...
Любви мы друг к другу далеки,
Друг друга мы чужды душой...

1846

* * *

Страдал он в жизни много, много,
Но сожаленья не просил
У ближних, так же как у бога,
И гордо зло переносил.

А было время — и сомненья
Свои другим он поверял,
Но тщетно... бедный не слышал
От брата слова утешенья!

Ему сказали: «Молод ты,
Остынет жар в крови с годами,
Исчезнут пылкие мечты...
Так точно было прежде с нами!»

Но простодушно верил он,
Что не напрасны те стремленья,
И прозревал он в отдаленьи
Священной истины закон.

Ему твердили с укоризной,
Что не любил он край родной;
Он мир считал своей отчиной
И человечество — семьей!

И ту семью любил он страстно,
И для ее грядущих благ
Истратить был готов всечасно
Избыток юных сил в трудах.

Но он любимым упованиям
Пределы всюду находил,
В стране рабов слепых преданья,
И жажды дел не утолил!

И умер он в борьбе бесплодной,
Никто его не разгадал;
Никто порывов не узнал
Души любящей, благородной...

Считали все его пустым,
И только юность пожалели;
Когда ж холодный труп отпели,
Рыданья не было над ним.

Над свежей юноши могилой
Теперь березы лишь шумят
Да утром пасмурным звучат
Напевы иволги унылой...

1846

ПРОСТИ

Прости, прости, настало время!
Расстаться должно нам с тобой;
Белеет парус мой, и звезды
Зажглися в тверди голубой.

О, дай усталой головою
Еще на грудь твою прилечь,
В последний раз облить слезами
И шелк волос, и мрамор плеч.

А там расстанемся надолго...
Когда же мы сойдемся вновь,
Дитя! в сердцах, быть может, холод
Заменит прежнюю любовь!

Быть может, дерзко всё бывшее
Тогда мы вместе осмеём,
Хотя украдкой друг от друга
Слезу невольную прольем...

Прости же, друг! Полна печали
Душа моя... Но час настал,
И в путь нетерпеливым плеском
Зовет меня серебристый вал..

ПОДРАЖАНИЕ БАЙРОНУ

Когда я прижимал тебя к груди своей,
Любви и счастья полн и примирен с судьбою,
Я думал: только смерть нас разлучит с тобою,
Но вот разлучены мы завистью людей.

Пускай тебя навек, прекрасное создание,
Отторгла злоба их от сердца моего.
Но верь — им не изгнать твой образ из него,
Пока не пал твой друг под бременем
страданья.

И если мертвецы приют покинут свой
И к вечной жизни прах из тленья возродится,
Опять чело мое на грудь твою склонится:
Нет рая для меня, где нет тебя со мной!

1846

* * *

1

К чему мечтать о том, что *после* будет с нами,
О том, чего уму постигнуть не дано...
Хоть часто тернии здесь смешаны с цветами,
Но всё ж земную жизнь бесславить вам
грешно.

Отрадного и в ней, поверьте, много, много...
Смотрите: гром затих и ясен свод небес...
И тучки прочь бегут лазурною дорогой,
И шепчет им вослед привет прощальный лес.
Смотрите, как луга вокруг благоухают,
Упитана дождем зеленая трава,
И легкий ветерок с волной реки играет,
И рожь златистая колышется едва...
Прекрасен этот мир! Возможно наслажденье!
К чему ж о гробе нам всечасно говорить...
Здесь ласки жен и дев, и страсти упоенья.
Здесь сердце может всё, что хочет, полюбить!..

2

Да! этот мир хорош; но право наслаждаться
Даровано ли всем могучею судьбой?

* * *

Возьми барабан и не бойся,
Целуй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший искусства,
Вот смысл философии всей!

Сильнее стучи и тревогой
Ты спящих от сна пробуди!
Вот смысл глубочайший искусства,
А сам маршируй впереди!

Вот Гегель! Вот книжная мудрость!
Вот дух философских начал!
Давно я постиг эту тайну,
Давно барабанщиком стал!

1846

* * *

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.
Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верно, отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.

1846

НОВЫЙ ГОД

(Кантата с итальянского)

Г о л о с

Слышны клики — поздравленья,
Хрусталя заздравный звон,
Ближе час освобожденья,
Ближе истины закон!

Х о р

Год еще мы отстрадали,
Изнуренные борьбой,
Тщетно руки простирали
К небу с теплою мольбой.

Тщетны, тщетны все моленья!
Правды бог не восстает,
Тяжко нам! Зерно сомненья
Каждый день в груди растет.

Г о л о с

О, к чему, к чему роптанье!
Искупленья близок час.
Дух лукавый отрицанья
Да отыдет прочь от нас!

Дни тревог и горя, братья,
Пролетят как смутный сон.
Уж гремят врагам проклятья —
Слышу я — со всех сторон.

Близок час последней битвы!
Смело двинемся вперед, —
И услышит бог молитвы
И оковы разобьет.

1848

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

(Л.З.Д. — при посылке моих стихов)

Опять весна! Опять далекий путь!
В душе моей тревожное сомненье;
Невольный страх мою сжимает грудь:
Засветится ль заря освобожденья?

Велит ли бог от горя отдохнуть,
Иль роковой, губительный свинец
Положит всем стремлениям конец?

Грядущее ответа не дает...
И я иду, покорный воле рока,
Куда меня звезда моя ведет...
В пустынный край, под небеса Востока!
И лишь молю, чтоб памятен я был
Немногим тем, кого я здесь любил...

О, верьте мне, вы первая из них!
Я забывал при вас тоску изгнания.
Вам и теперь мой безыскусный стих,
Как сердца дань, я шлю на расставаньи.
Пусть иногда в раздумья тихий час
Он обо мне заставит вспомнить вас.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ГАЗЕТ

Мне тяжело читать кровавые страницы,
Что нам о племенных раздорах говорят,
Как тяжело смотреть на сумрачные лица
Семьи, где издавна господствует разлад.

Отчизну я люблю глубоко и желаю
Всей полнотой души цвести и крепнуть ей,
Но к племенам чужим вражды я не питаю,
Ей места нет в душе незлобивой моей.

Рассказ о подвигах на поле грозной битвы
Восторгом пламенным мне не волнует кровь;
И к небесам я шлю горячие молитвы,
Чтоб низошла в сердца озлобленных
любовь.

Чтоб миновали дни тревог, ожесточенья,
Чтоб, позабыв вражду и ненависть свою,
Покорные Христа высокому ученью,
Все племена слились в единую семью!

1854

С.....У

(При вступлении на поприще)

Перед тобой лежит широкий новый путь,
Прими же мой привет, не громкий, но
сердечный;
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде
вечной.

Да не утратишь ты в борьбе со злом упорной
Всего, чем нынче так душа твоя полна,
И веры и любви светильник животворный
Да не зальет в тебе житейская волна.

Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал.

И если в старости, в раздумья час печальный,
Ты скажешь: в мире я оставил добрый след,
И встретить я могу спокойно миг
прощальный, —
Ты будешь счастлив, друг: иного счастья нет!

1855

В СТЕПИ

Так скоро, может быть, покинуть должен я,
О степь унылая, простор твой необъятный;
Но, вместо радости, зачем душа моя
Полна какою-то тоскою непонятной?

Жалею ль я чего? Или в краю ином
Грядущее сулит мне мало утешенья?
И побреду я вновь знакомым мне путем,
Путем забот, печалей и лишения.

Как часто у судьбы я допросить хотел,
Какую пристань мне она готовит...
Зачем неравный бой достался мне в удел,
Зачем она моим надеждам прекословит?

Ответа не было. Напрасно я искал,
Куда б усталую приникнуть головою...
Не видно пристани... И счастья идеал
Уж я давно зову ребяческой мечтою!

Но пусть без радости мои проходят дни...
Когда б осталось мне отрадное сознанье,
Что к благу ближнего направлены они,
Я б заглушил в себе безумное роптанье;

Но нет, еще ничьих не утирал я слез
И сердца голосу был часто непослушен;
Я утешения несчастным не принес,
И слаб я был, и горд, и малодушен.

И жаль мне, что я жизнь покину без следа,
Как покидаю край печального изгнанья,
Что ни единый друг от сердца никогда
Не сжал руки моей в минуту расставанья.

Между маем и ноябрем 1856

* * *

О, если б знали вы, друзья моей весны,
Прекрасных грез моих, порывов благородных,
Какой мучительной тоской отравленъ
Проходят дни мои в волнениях бесплодных!

Былое предо мной как призрак восстает,
И тайный голос мне твердит укор правдивый;
Чего убить не мог суровой жизни гнет,
Зарыл я в землю сам, зарыл, как раб ленивый.

Душе была дана любовь от бога в дар
И отличать дано добро от зла уменье;
На что же тратил я священный сердца жар,
Упорно ль к цели шел во имя убежденья?

Я заключал не раз со злом постыдный мир
И пренебрег труда спасительной дорогой,
Не простирал руки тому, кто наг и сир,
И оставался глух к призывам правды строгой.

О, больно, больно мне... Скорбит душа моя,
Казнит меня палач неумолимый — совесть;
И в книге прошлого с стыдом читаю я
Погибшей без следа, бесплодной жизни повесть.

1856

С. Ф. ДУРОВУ

Уедешь ты на теплый юг!
И где лазурью блещет море,
Покинет тело злой недуг,
Покинет сердце злое горе.

Там отдохнет в семье друзей
Душа, изведавшая муки,
И песен, выстраданных ей,
К нам долетят святые звуки...

И всё, что рок во дни невзгод
Давил железною рукою,
Вдруг встрепенется, оживет,
Как цвет под влагой дождевою.

Господь тебя благослови
За годы долгие несчастья
И тихой радостью любви,
И дружбы ласковым участием!

И если радостные дни
Придут, послушные желанью,
Меня, собрата по изгнанию,
Ты добрым словом помяни!

18 июля 1857

ПТИЧКА

(Подражание Сырокомле)

М. Л. Михайлову

Птичка божия проснулася с зарею,
А уж пахаря застала за сохою;
Полетит она к лазурным небесам
И, что видит в селах, всё расскажет там.
Скажет птичка богу, что бедняк страдает,
Что кровавым потом ниву орошает;
Не мила, как птичке, пахарю весна,
Радостей немного подарит она...
Встретил бы он солнце песенкой веселой,
Да молчать заставит гнет нужды тяжелой.
На сердце заботы, как свинец, лежат,
Поневоле песня не пойдет на лад.
Где тут любоваться негой лунной ночи, —
Застилают слезы труженику очи...
Скажет птичка богу, чтоб его рука
Поддержала в горькой доле бедняка,
Чтоб ему нести свой крест достало силы,
Чтоб без ропота добрел он до могилы.

1857

* * *

Есть дни: ни злоба, ни любовь,
Ни жажда дел, ни к истине стремленье —
Ничто мне не волнует кровь:
И сердце спит, и ум в оцепененьи.

Я остаюсь к призывам жизни глух;
Так холоднозираю, так бесстрастно
На всё, что некогда мой дух
Тревожило и мучило всечасно.

И ласка женская во мне
В те дни ответа даже не находит;
В бездействии, в позорном сне
Душевных сил за часом час проходит.

Мне страшно, страшно за себя:
Боюсь, чтоб сердце вовсе не остыло,
Чтоб не утратил чувства я,
Пока в крови огонь и в теле сила.

Годами я еще не стар...
О боже, всех, кто жаждет искупленья,
Не дай, чтоб пеплом сердца жар
Засыпало мертвящее сомненье!

1857

* * *

Еще один великий голос смолк,
Правдивый голос обличенья!
Но где же слезы сожаленья?
Лишь дети лжи, поднявши буйный толк,
Глумятся над великой тенью.

Давно ль он словом пламенным карал
Тебя, изнеженное племя!
Давно ль любви и правды семя
В сердца людей так щедро он бросал?
Иль позабыто это время?

Недолго волновала вас
Тех слов пророческая сила;
Дымятся снова злу кадила;
И всё, о чем вещал пророка глас,
Корысть и пошлость поглотила!

Но день придет — и стихнет клевета,
И, вместо криков озлобленья,
В тот день великий возрожденья
Услышит дух поборника Христа
Толпы людской благословенья!

<1858>

* * *

О нет, не всякому дано
Святое право обличенья!
Кто не взрастил в себе зерно
Любви живой и отреченья, —
И бесполезно и смешно
На мир его ожесточенье.

Но если праведная речь
Из сердца чистого стремится —
Она разит, как божий меч;
Дрожит, бледнеет и стыдится
Пред нею тот, кого обречь
Она проклятью не страшится.

Но где тот века проводник,
Что скуп на речи, щедр на дело,
Что, заглушив страстей язык,
Благой пример являть привык
Толпе, в неправде закоснелой?
Где он? Нас к бездне привела
Стезя безверья и порока!

Радам позорной лжи и зла
Пошли, пошли, господь, пророка,
Чтоб речь его нам сердце жгла
И содрогнулись мы глубоко!

1858

ПОСВЯЩЕНИЕ

Домчатся ль к вам знакомых песен звуки,
Друзья моих погибших юных лет?
И братский ваш услышу ль я привет?
Всё те же ль вы, что были до разлуки?

Быть может, мне иных не досчитаться!
А те — в чужой, далекой стороне
Уже давно забыли обо мне...
И некому на песни отозваться!

Но я средь бурь, в дни горя и печали,
Был верен вам, весны моей друзья,
И снова к вам несется песнь моя,
Когда, как сон, невзгоды миновали.

1858

* * *

Много злых и глупых шуток,
Жизнь, играла ты со мной,
И стою на перепутье
Я с поникшей головой.

Сердца лучшие порывы
И любимые мечты
Осмеяла беспощадно,
В пух и прах разбила ты.

Подстрекнула ты лукаво
На неравный бой меня,
И в бою том я потратил
Много страсти и огня.

Только людям на потеху
Скоро выбился из сил;
И осталось мне сознание,
Что я немощен и хил.

Что ж! Пойду дорогой торной,
Думал я, толпе вослед,
Скромнен, тих, благонамерен,
Бросив юношеский бред.

Что за гладкая дорога!
Камни здесь не режут ног.
Если б шел по ней я прежде,
Я бы так не изнемог.

Да и цель гораздо ближе;
Пристань мирная в виду...
Сколько там я наслаждений
Неизведанных найду!

Но, увы! пришлось недолго
К этой цели мне идти,
И опять я очутился
На проселочном пути.

А виной всё эти грезы;
Эти сны поры былой...
Безотвязные, со мною
Шли они рука с рукой.

И манили всё куда-то,
И шептали что-то мне,
Милых образов так много
Показали в стороне.

Им навстречу устремился
Я, исполнен новых сил;
Шел по терниям колючим,
В бездны мрачные сходил.

И уж думал — подхожу я
К милым призракам моим,
Но напрасно, утомлённый,
Простирал я руки к ним.

Отдалялись, улетали
Дорогие от меня...
И внезапно, на распутье,
Ночью был застигнут я.

Долго ль ночь моя продлится
И что ждет меня за ней,
Я не знаю; знаю только,
Что тоска в душе моей.

Но не торная дорога,
Рано брошенная мной,
Пробуждает сожаленье
В этот миг в душе больной.

Жаль мне призраков любимых,
Жаль роскошных, ярких грез,
Что так рано день, сокрывшись,
На лучах своих унес!

* * *

Дети века все больные, —
Мне повсюду говорят, —
Ходят бледные, худые,
С жизнью всё у них разлад.

Нет! Напрасно стариками
Оклеветан бедный век;
Посмотрите: перед вами
Современный человек.

Щеки, словно как с морозу,
Так румянцем и горят;
Как прилична эта поза,
Как спокоен этот взгляд.

Вы порывов увлечения
Не заметите за ним;
Но как полон уваженья
Он к достоинствам своим.

Все вопросы разрешает
Он легко, без дальних дум;
Не тревожит, не смущает
Никогда сомненье ум.

И насмешкой острой, милой
Как умеет он кольнуть
Недовольных, что уныло
На житейский смотрят путь.

Предрассудки ненавидят,
Всё твердят про идеал
И лишь зло и гибель видят
В том, что благом мир признал.

Свет приятным разговором
И умом его пленен;
Восклицают дамы хором:
«Как он мил! как он умен!»

Нет! Напрасно старость взводит
Клевету на бедный век:
Жизнь блаженствуя проводит
Современный человек.

МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Он беден был. (Его отец
В гусарах век служил,
Любил танцовщиц и вконец
Именье разорил.)

И ярый был он либерал:
Все слабости людей
Он энергически карал,
Хоть не писал статей.

Не мог терпеть он спину гнуть,
Любил он бедный класс,
Любил помещиков кольнуть
Сатирой злой подчас.

И Жоржем Сандом и Леру
Был страстно увлечен,
Мужей он поучал добру,
Развить старался жен.

Когда же друга моего
Толкнула в глушь судьба,
Он думал — закалит его
С невежеством борьба.

Всех лихоимцев, подлецов
Мечтал он быть грозой;
И за права сирот и вдов
Клялся стоять горой.

Но, ах! грядущее от нас
Густой скрывает мрак;
Не думал он, что близок час
Вступить в законный брак.

Хоть предавал проклятью он
Пустой, бездушный свет,
Но был в губернии пленен
Девицей в тридцать лет.

Она была иных идей...
Ей не был Санд знаком,
Но дали триста душ за ней
И трехэтажный дом.

Женился он, ему прилась
По сердцу жизнь сам-друг...
Жена ввела его тотчас
В губернский высший круг.

И стал обеды он давать,
И почитал за честь,
Когда к нему съезжалась знать,
Чтоб хорошо поесть.

И если в дом к нему порой
Являлся генерал,
Его, от счастья сам не свой,
Он на крыльце встречал.

Жена крутой имела нрав;
А дом и триста душ
Давали ей так много прав...
И покорился муж.

Хоть иногда еще карал
Он зло в кругу друзей,
Но снисходительней взирал
На слабости людей.

Хоть не утратил он вполне
Могучий слова дар,
Но как-то стынул при жене
Его душевный жар.

Бывало, только заведет
О крепостных он спор,
Глядишь, и зажимает рот
Ему супруги взор.

И встретил я его потом
В губернии другой;
Он был с порядочным брюшком
И чин имел большой.

Пред ним чиновный весь народ
И трепетал и млея;
И уж не триста душ — пятьсот
Он собственных имел.

О добродетели судил
Он за колодой карт...
Когда же юноша входил
Порой пред ним в азарт,

Он непокорность порицал,
Как истый бюрократ...
И на виновного бросал
Молниеносный взгляд...

СТРАННИК

Томит меня мой страннический путь.
Хотелось бы под вечер на покой,
Хотелось бы на дружескую грудь
Усталую прикинуть головой.

Была пора — и в сердце молодом
Кипела страсть, не знавшая преград;
На каждый бой с бестрепетным челом
Я гордо шел, весенним грозам рад.

Была пора — огонь горел в крови;
И думал я, что песнь моя сильна,
Что правды луч, что луч святой любви
Зажжет в сердцах озлобленных она.

Где ж силы те, где бодрость прежних лет?
Сгубила их неравная борьба;
И пустота, бесплодной жизни след,
Ждет неизбежная, как древняя судьба.

Пора домой! Не опоздать бы мне;
Не заперты ль ворота на запор?
И огонек мерцает ли в окне,
Маня к себе усталый, грустный взор?

Отворят ли с улыбкою мне дверь?
Услышу ли я ласковый привет:
«Не одинок, не странник ты теперь:
Ты отдохнешь, любовью согрет...»

1858

* * *

В надежде славы и добра,
Гляжу вперед я без боязни...

Пушкин

Была пора: своих сынов
Отчизна к битве призывала
С толпой несметною врагов,
И рать за ратью восставала,
И бодро шла за ратью рать
Геройской смертью умирать.

Но смолк орудий страшный гул,
И, отстояв свой край родимый,
Народ великий отдохнул.
Отчизна вышла невредима
Из той борьбы... как в старину —
В иную славную войну.

И вот опять она зовет
Своих сынов на бой упорный.
Но этот бой уже не тот...
Со злом и тьмой, с неправдой черной
Она зовет теперь на бой,
Во имя истины святой!

Не страшен нам и новый враг,
И с ним отчизна совладеет...
Смотрите! Уж редет мрак,
Уж свет повсюду проникает,
И, содрогаясь, чует зло,
Что торжество его прошло.

1858

ДЕКАБРИСТ

Забывши прыгать и кружиться
Под звуки бального смычка,
Вот юность пылкая теснится
Вокруг седого старика.
С ним в разговор она вступает,
И отзыв он дает на всё,
Что так волнует, увлекает
Всегда тревожную ее.
Хоть на челе его угрюмом
Лежит страданий долгих след,
Но взор его еще согрет
Живой, нестарческой думой.
К ученью правды и добра
Не знает он вражды суровой:
Он верит сам, что жизни новой
Придет желанная пора.

Поражены его речами,
Любуясь старца сединой,
Твердили юноши: «Летами
Он только стар, но не душой!»
Блажен, кто в старческие годы
Всю свежесть чувства сохранил,
В ком испытанья и невзгоды

Не умертвили духа сил,
Кто друг не рабства, а свободы,
В ком вера в истину жива
И кто бесстрастно не взирает,
Как человечества права
Надменно сильный попирает.

<1859>

ПЕСНЯ

(Из Шевченко)

Полюбила я
На печаль свою
Сиротинушку
Бесталанного.
Уж такая мне
Доля выпала!
Разлучили нас
Люди сильные;
Увезли его,
Сдали в рекруты...
И солдаткой я
Одинокой я,
Знать, в чужой избе
И состареюсь...
Уж такая мне
Доля выпала.

1860

* * *

О, не забудь, что ты должник
Того, кто сир, и наг, и беден,
Кто под ярмом нужды поник,
Чей скорбный лик так худ и бледен,
Что от небес ему одни
С тобой даны права святые
На всё, чем ясны наши дни,
На наши радости земные!

И тех страдальцев не забудь,
Что обрели венец терновый,
Толпе указывая путь, —
Путь к возрожденью, к жизни новой!
И пусть в дому твоём найдут
Борьбой измученные братья
Забвенья мук, от бурь приют
И брата верные объятья!

31 декабря 1861

ОТЧИЗНА

Природа скудная родимой стороны!
Ты дорога душе моей печальной;
Когда-то, в дни моей умчавшейся мечты,
Манил меня чужбины берег дальний...

И пылкая мечта, бывало, предо мной
Рисует всё блестящие картины:
Я вижу свод небес прозрачно-голубой,
Громадных гор зубчатые вершины...

Облиты золотом полуденных лучей,
Казалось, мирт, платаны и оливы
Зовут меня под сень раскидистых ветвей,
И розы мне кивают молчаливо...

То были дни, когда о цели бытия
Мой дух, среди житейских обольщений,
Еще не помышлял.. И, легкомыслен, я
Лишь требовал у жизни наслаждений.

Но быстро та пора исчезла без следа,
И скорбь меня неожиданно посетила..
И многое, чему душа была чужда,
Вдруг стало ей и дорого и мило.

* * *

О юность, юность, где же ты?
Где эта пылкая отвага
И вдохновенные мечты?
Готовность где — во имя блага,
Покинув всё, семью и дом,
Идти на битву с мощным злом?

Их нет давно!.. И нету сил
На подвиг трудный и суровый;
Как раб, что много лет носил
Неволи тяжкие оковы,
Я духом слаб, я изнемог, —
Сломил меня железный рок.

Лишь одного житейский гнет
Убить в душе моей не в силах,
Одно в ней только не умрет,
Хотя и будет в этих жилах
Струиться старческая кровь:
К отважной юности любовь!..

Когда, толпясь вокруг меня,
Кипит младое поколение,

Иного, радостного дня
Рассвет я вижу в отдаленьи,
И говорю с восторгом я:
«Бог помочь, братья и друзья!

Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой,
Не отступая пред толпой,
Бросать камнями готовой
В того, кто сон ее смутит,
Чья речь, как божий меч, разит.

Бог помочь, братья и друзья!
Когда ж желанный день настанет,
Пусть ваша дружная семья
Отживших нас добром помянет;
Нас всех, чья молодость прошла
В борьбе с гнетущей силой зла!»

19 марта 1862
Москва

* * *

Честные люди, дорогой тернистою
К свету идущие твердой стопой,
Волей железною, совестью чистою
Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные
Горем задавленный, спящий народ, —
Ваши труды не погибнут бесследные:
Доброе семя даст плод.

Сбудутся ваши святые желания,
Хоть не дожидаться поры этой вам
И не видать, как все ваши страдания
Здесь отольются врагам.

Вестники правды, бойцы благородные,
Будете жить вы в правдивых сердцах,
Песню могучую люди свободные
Сложат о ваших делах...

1863

СТАРИКИ

Вот и опять мы, как в прежние годы,
Старый товарищ, беседу ведем,
И прожитые когда-то невзгоды
Смутным каким-то нам кажутся сном.

Сколько мы лет не видались с тобою!
Сколько воды с той поры утекло...
Старость, подкравшись к нам тихой
стопою,
Избороздила обоим чело.

Пламень, горевший в глазах, потушила,
Снегом обсыпала волосы нам.
Где наша бодрость, отвага и сила?
Видно, они не под стать сединам!

Помнишь, товарищ, минуту разлуки?
Весело в даль мы глядели тогда;
Жали друг другу с улыбкой мы руки,
Грозная нас не страшила беда.

Мы говорили друг другу, прощаясь:
Скоро желанное время придет;
Сбудется всё, что толпа, издеваясь,
Бредом, мечтаньем нелепым зовет.

Веруя в силу свободного слова,
Думали мы, что могучая рать
Ринуться в битву с неправдой готова,
Стоило только ему прозвучать.

Что же ты вдруг покачал головою?
Что улыбнулись так горько уста?
Молодость нас обманула с тобою...
Совесть зато у обоих чиста.

Бедны мы оба, в потертой одежде;
Много от нас отшатнулось друзей.
Пусть их! Но сердце в нас бьется,
как прежде,
Верой горячей в добро и людей.

Пыл нетерпенья в душе охладили,
Свергли немало кумиров года;
Но и кумирам толпы не кадили
В чаяньи благ мы земных никогда.

С пеной у рта не бросали камня
В юность кипучую, если, полна
Гордой отваги, в пылу увлеченья,
Нас за ошибки корила она.

Знаем мы оба, как время настанет —
Нам от житейских трудов отдохнуть,
Лихом она стариков не помянет,
Скажет: они пролагали нам путь.

Так-то, товарищ! Разбитым и хилым,
Нам остается глядеть в стороне,
Как нарождаются новые силы,
Как на борьбу выступают оне,

Да, вспоминая прожитые годы,
В сердце суровое небо молить,
Чтоб миновали все наши невзгоды
Тех, кто пришел нас, отживших, сменить.

1869

ПОЧЬЮ

Жалобно ветер в трубе завывает,
Ночь неприветная смотрит в окно;
Маятник мерно стучит, догорает
Бледный ночник, в доме спят все давно.

Мне одному, этой поздней порою,
Сон не смыкает тяжелых ресниц:
Прошлого тени встают предо мною,
Много знакомых мне вспомнилось лиц.

Вспомнились те, что когда-то так смело
Вышли на битву с неправдой и злом,
Делу благому отдавшись всецело,
Перед толпой не склоняясь челом.

Те, что, отвергнув все блага мирские,
Честную им нищету предпочли;
В ком ни обман, ни гоненья людские
Веры в добро умертвить не могли.

Где-то теперь вы? О, пусть ваше слово
Нам прозвучит в эту темную ночь...
Пусть оно силу на подвиг суровый
Даст нам, готовым в борьбе изнемочь.

* * *

Я тихо шел по улице безлюдной
И, погружен в раздумье о былом,
Среди домов, облитых лунным светом,
Узнать хотел давно знакомый дом.

Он неуклюж был, ветх и с мезонином;
Я помню, мне казалось всё, что он
Из городка уездного в столицу
Каким-то чудом был перенесен.

Куда исчез тот дом? Иль дух стяжанья
Беднягу стер давно с лица земли,
И, где стоял он, серенький и скромный,
Высокие хоромы возвели?

Нет-нет! Сейчас узнал я друга!
Он — тот же всё, каким был и тогда,
И лишь чуть-чуть как будто покривился.
Немудрено! Берут свое года!

Привет тебе! В стенах твоих нередко
Я поздний час в беседе забывал...
То были дни, когда стопой несмелой
Впервые в жизнь я, юноша, вступал.

Привет тебе! Под этой старой крышей
Жил труженик с высокою душой;
Любви к добру и веры в человека
В нем до конца не гас огонь святой.

Учил он нас мириться с темной долей,
Храня в душе свой чистый идеал;
Учил идти путем тернистым правды
И не искать за подвиги похвал;

Учил любить страну свою родную,
Отдать ей весь запас духовных сил,
Чтить имена борцов за свет и знание,
Тех, кто одной лишь истине служил.

Читая нам создания поэтов,
Воспламенял он юные сердца;
И мы клялись идти к высокой цели,
Не изменять клялись ей до конца.

Уж нет его: давно он спит в могиле!
Но кто из тех, в чью грудь он заронил
Зерно благих, возвышенных стремлений,
Кто памяти о нем не сохранил?

И предо мной тот скромный образ часто
Встает, хотя десятки лет прошли;
Всё помню я: беседы эти, споры,
Что в уголке убогом мы вели.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий сборник объединяет избранные стихотворения поэтов-петрашевцев и составлен на основе последнего издания книги «Поэты-петрашевцы», вышедшей в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1957 г.

Стихотворения А. Н. Плещеева представлены здесь в более скупом отборе, чем стихотворения других петрашевцев ввиду того, что творчеству этого видного поэта посвящен специальный выпуск Малой серии.

Состав книги пополнен шестью неизвестными ранее стихотворениями С. Ф. Дурова. Три из них — «Радость едва лишь блеснет...», «Не верьте мне, когда среди волнений...», «Из А. Шенье» («Вдали от сладостных пафосских берегов...») — обнаружены И. А. Щуровым в журнале «Иллюстрация» (1846, №№ 18—19); остальные — «Из Виктора Гюго» («Ребенок пел... а мать в предсмертных муках...»), «Пролет пчел (Из Огюста Барбье)» и «Нет, нет, без веры жить нельзя...» — разысканы Б. В. Смиренским; одно — в журнале «Русское слово» (1855, № 9), а два последних — в журнале «Изящная литература» (1885, № 3).

Кроме того, в сборнике впервые публикуется целиком стихотворение Дурова «Из апостола Иоанна», полный текст которого сохранился в неопубликованном письме декабриста И. И. Пущина к Н. Д. Фонвизиной (от 24 мая 1856 г.) из Тобольской губернии. Неизвестной частью этого стихотворения являются 24 последние строки его. «Из апостола Иоанна» было написано Дуровым во время заключения в Петропавловской крепости обугленной спичкой на переплете книги «L'histoire de la peinture en Italie» (Paris, 1824).¹ Эта книга, ставшая после смерти Дурова собственностью А. И. Пальма, была обнаружена Б. В. Смиренским в библиотеке Демьяна Бедного, хранящейся ныне в фондах Литературного музея (в Москве). Все эти сведения, а также текст неопубликованной части стихотворения Дурова любезно сообщены нам Б. В. Смиренским для опубликования в настоящем издании.

Стихотворения каждого поэта расположены по возможности в хронологической последовательности. Даты первых публикаций всюду заключены в угловые скобки. Даты предположительные сопровождаются знаком вопроса. Два стихотворения Дурова, не поддающиеся датировке, помещены в конце раздела, посвященного этому поэту.

В тексте стихотворений все редакторские конъектуры приводятся в угловых скобках.

¹ «История живописи в Италии» (Париж, 1824).

А. И. БАЛАСОГЛО

Проричание. *Отженить* — отогнать.

Противоположность. В стихе 56 цензурный пропуск предположительно восстанавливается по смыслу. *Киот* — остекленный шкаф (ящик) для икон. *Содом* — здесь: множество.

Раздел. *Галопад* — старинный танец.

А. Н. В<ульф>. Стихотворение, по всей вероятности, обращено к Анне Николаевне *Вульф*; с семейством Вульфов был дружен А. С. Пушкин, их сосед по имению. *В городке глухих невежд* — в Херсоне, где родился и провел детские годы Баласогло. *Тригорское* — имение Вульфов в Псковской губернии. *Тучков* — торговый поселок при крепости Измаил (Бессарабия), где, вероятно, жил Баласогло. «*Московский вестник*» — журнал, издававшийся в 1827—1830 гг.; в нем сотрудничал А. С. Пушкин. *Вития* — оратор. *Амвон* — возвышение в церкви, напоминающее кафедру, с которого произносятся проповеди. «*Телеграф*» — журнал «Московский телеграф», издававшийся в 1825—1834 гг. «*Пчела*» — газета «Северная пчела» (1825—1864), издававшаяся в 1825—1860 гг. реакционным журналистом Ф. В. Булгариным. *Злой «Инвалид» хромал бездомно*. Газета «Русский инвалид» редактировалась в 1822—1838 гг. А. Ф. Воейковым, отличавшимся хромотой и желчным характером. *Строить куры* — ухаживать. *Парнас* (греч.

миф.) — местопребывание муз; здесь — сообщество поэтов. «*Новости литературы*» — журнал, выходивший в 1822—1826 гг. *Его тиртеевским умом*. Тиртей (VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, своими песнями воодушевлявший сограждан на подвиги. *Этот «Вестник», приют их всех, его родни*. В «Московском вестнике» печатались произведения поэтов пушкинского круга. *Цевница* — свирель. *Веневитинов*. Дмитрий Владимирович — поэт, умерший в возрасте 22-х лет в 1826 году; для его поэзии, проникнутой вольнолюбивыми настроениями, характерны философские мотивы. *Подолинский* Андрей Иванович (1806—1886) — поэт, стихотворения которого отмечены меланхолическими настроениями. *Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт-славянофил, в ряде своих стихотворений выражал веру в особый, отличный от стран Западной Европы, путь России. *Мур* Томас (1779—1852) — английский поэт-романтик, автор «Ирландских мелодий». *Козлов* Иван Иванович (1779—1840) — поэт, автор многочисленных элегий. *Ознобишин* Дмитрий Петрович (1804—1877) — поэт, многие стихотворения которого основаны на «восточных» мотивах. *Позор фигляров* — очевидно, намек на Ф. В. Булгарина, которого Пушкин заклеил в своих эпиграммах под именем Фиглярина. *Содом* — здесь: безобразия, сильный шум. *Эгид* — эгида, здесь: защита. *Гурт* — стадо. *Брот-гелертерский* — полунищий. *С ареной «тигров»*. Здесь «тигр» — то же, что светский лев, блестящий кавалер,

покоритель женских сердец. *Равельяк* Франсуа (1578—1610) — убийца французского короля Генриха IV. *Зачем, зачем они хоронят* и т. д. Отрывок, начинающийся этим стихом, представляет собой воспоминание очевидца похорон Пушкина. *Цуг* — упряжка в несколько пар лошадей. *Плерезы* — траурная обшивка из белых полог. *Мускус* — остро пахучий продукт, употребляемый в медицине и парфюмерии. *Вертиж* — головокружение. *Каннин* — очевидно, имеется в виду Джордж Каннинг (1770—1827) — английский государственный деятель. *Языков* Николай Михайлович (1803—1846) посвятил матери А. Н. Вульф — П. А. Осиповой стихотворение «Тригорское» (1826). *И может быть, еще досель* и т. д. Здесь намек на пребывание Языкова за границей, где он жил в 1838—1843 гг. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитивший для блага людей огонь, за что Зевс приковал его к скале. *И мог ли думать я, читая* и т. д. Эта и следующие три строки пересказывают соответствующие места из стихотворения Языкова «Тригорское». *Сороть* — река близ Тригорского и Михайловского. *Наяды* (греч. миф.) — речные нимфы. *Меценатный* — здесь: гостеприимный.

А. И. ПАЛЬМ

Освобожденный узник. *Денница* — утренняя заря.

А. Ф. Д—у. К кому обращено это стихотворение, не установлено.

«Когда гляжу на городские здания...». *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1875) — поэт.

Русская песня. Эпиграф — первый стих народной песни, которую поют разбойники в «Дубровском» и пугачевцы в «Капитанской дочке» Пушкина. Мотив разбойничьей песни приобретает у Пальма революционный смысл. Последняя строка стихотворения, замененная многоточием, вычеркнута цензурой. Можно предполагать, что этот стих кончался словом «оковы» (рифма к «дубровы»).

Отрывок из рассказа. Фрагмент поэмы написан терцинами — строфической формой, весьма редкой в русской поэзии. *Зазвонил Валдая дар* — перифраз из популярной песни Федора Глинки «Тройка» («И колокольчик, дар Валдая...»).

В альбом М. В. Г. Адресат стихотворения не установлен. *Неловкие октавы*. Стихотворение написано не октавами (восьмистишиями с особой системой рифмовки), а шестистишными строками с разными вариантами рифмовки.

«И одного еще мы проводили...». Стихотворение приведено в романе А. И. Пальма «Алексей Слободин». Речь идет, по-видимому, о неожиданной смерти критика Валерьяна Майкова (1847), близкого к кружку петрашевцев.

Д. Д. АХШАРУМОВ

«Земля, несчастная земля...». К последним десяти строкам этого стихотворения Ахшарумов в своих воспоминаниях сделал примечание: «Таким фантастическим бредом à la Fourier <в роде Фурье> утешал я себя в это трудное время». *Тогда и для земной планеты* и т. д. Здесь Ахшарумов пересказывает мысли Фурье; когда человеческое общество, по его учению, будет организовано на принципах добра и справедливости, вселенная также примет совершенно иной вид. *Эклиптика* — круг небесной сферы, по которому в течение года движется солнце.

«Гора высокая, вершина чуть видна...». В воспоминаниях Ахшарумова эти стихи сопровождаются следующим пояснением: «Одно из стихотворений этого времени, задуманное вроде поэмы, олицетворяло восхождение, поодиночке, на гору крутую, пустынную, местами усеянную костями людей, шедших прежде нас... Стихотворение это... выражает мрачное, экзальтированное, болезненное состояние человека, истомленного долгим одиночным заключением за стремление выйти из безобразной, душной окружающей нас общественной среды». *Рамена* — плечи. *Шпиц крепостной* — шпиль собора в Петропавловской крепости.

«Судьба жестокая свершилась надо мной...». Написано по пути в Херсон,

где Ахшарумов отбывал наказание в арестантских ротах.

Херсонь. Относится ко времени пребывания автора в херсонском остроге.

Н. Е. Рудыковскому. Написано по выходе из херсонского острога, накануне отъезда в армию на Кавказ. Инженер Н. Е. *Рудыковский*, к которому обращено стихотворение, был, по словам Ахшарумова, «единственным человеком во всем городе», не побоявшимся оказать ссыльному «как нравственную, так и материальную поддержку». *Шат* — гора Эльбрус на Кавказе.

«Мои острожные друзья...». Это стихотворение, также включенное в воспоминания Ахшарумова, включает его рассказ о песнях и плясках арестантов, которые он наблюдал в херсонском остроге.

С. Ф. ДУРОВ

Из В. Гюго («Не насмехайтесь над падшею женой!..»). Перевод стихотворения «Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe!..».

Дант. Перевод стихотворения Огюста Барбье «Dante». Дант — Данте Алигьери (1265—1321) — выдающийся итальянский поэт, приняв-

ший активное участие в политической борьбе, разгоревшейся во Флоренции, сначала на стороне партии гвельфов, а затем на стороне *гибеллинов*, жаждавших объединения Италии под властью германского императора.

Из Виктора Гюго («Нежданно настает день горький для поэта...»). Перевод стихотворения «Un jour vient où soudain l'artiste généreux...».

Из Барбье («Как больно видеть мне повсюду свою горесть...»). Перевод стихотворения «Il est triste de voir partout l'oeuvre du mal...».

Из В. Гюго («Ты видишь эту ветвь; побитая грозю...»). Перевод стихотворения «Vois cette branche est rude, elle est poire, et la pue...».

«Когда трагический актер...». *Позор* — здесь: зрелище, представление.

Киайя. Перевод поэмы Барбье «Chiaia». По свидетельству А. П. Милюкова, в переводе Дурова «цензура уничтожила несколько стихов» (они заменены многоточиями). *Киайя* — морское побережье около Неаполя. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский живописец, покинувший родной Неаполь, который находился под властью испанцев. Он принимал участие в народном восстании, которым руководил ры-

бак по имени Мазаниэлло; это предание легло в основу поэтического диалога между вольнолюбивым художником и рыбаком. *Капрея* — остров Капри, расположенный неподалеку от Неаполя. *Мамон* — здесь: алчность, грубая чувственность. *Калабрия* — южная итальянская провинция. *Гаргано* — горный массив в юго-восточной Италии. *Сибелла* — прорицательница, предсказательница у древних греков.

О с е а п о п о х. Перевод стихотворения «Oh! combien de marins, combien de capitaines...». Заглавие взято из стиха 250 второй песни «Энеиды» Вергилия.

Из В. Гюго («Когда порой дитя появится меж нами...»). Перевод стихотворения «Lorsque l'enfant paraît...». *Денница* — см. стр. 367.

(Из А. Шенье) («Вдали от сладостных пафосских берегов...»). Перевод стихотворения «Imité d'une idylle de Bion». *Пафос* — город на острове Кипр, где был особенно распространен культ богини любви *Киприды* (Афродиты). *Сиракузы* — город на острове Сицилия. *Олимп* (греч. миф.) — гора, являвшаяся местопребыванием богов.

А ю - д а г. Перевод стихотворения Адама Мицкевича «Ajudach». *Аю-даг* — гора на южном берегу Крыма.

Л и с т о к. Перевод стихотворения французского поэта А. Арно (1766—1863) «*De la tige détachée*», откуда взят и эпиграф. Стихотворение написано Арно в 1815 г. в связи с изгнанием его Бурбонами из Франции. Эта элегия стала своего рода поэтической формулой для выражения чувств политического изгнанника. В статье «Французская академия» Пушкин писал: «Участь этого маленького стихотворения замечательна. Костюшко перед своей смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык...». Образ гонимого бурей листка приобрел широкую популярность в русской поэзии; он получил наиболее яркое воплощение у Лермонтова («Дубовый листок оторвался от ветки родимой...») и в лирике поэтов-петрашевцев.

В альбом графини С — кой. К кому обращено стихотворение, не установлено.

«Есть бездна на земле, есть бездна роковая...». Перевод стихотворения О. Барбье «*La cive*», начальные строки которого приведены в качестве эпиграфа. В переводе имеется целый ряд цензурных пропусков и искажений. *Стогны* — площади.

«Что в жизни, если мы не любим никого...». *Рамена* — плечи.

Из Данте («На полпути моей земной дороги...»). Стихотворение представляет собой пе-

ревод отрывков из разных песен первой части «Божественной комедии» Данте («Ад»). *Вергилий* Марон (70—19 до н. э.). — римский поэт; является персонажем Дантова «Ада». *Егова* — одно из имен бога в Библии. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик, переправляющий на челне через реку подземного царства души умерших.

Отчаяние. Сокращенный перевод стихотворения французского поэта-сатирика Н. Жильбера (1751—1780) «*Les plaintes du malheureux*».

Кружка. *Дервиш* — мусульманский монах.

К***. Адресат стихотворения не установлен.

Чердак. Перевод стихотворения П.-Ж. Беранже «*Le grenier*», начальные строки которого приведены в качестве эпиграфа. *Маренго* — местечко, где в 1800 г. войска Наполеона Бонапарта одержали победу над австрийской армией.

В. В. Толбину. *Толбин* Василий Васильевич (1821—1869) — литератор и поэт, посещавший собрания кружка Петрашевского с 1847 г.

Сосед. Многозначием обозначен цензурный пропуск двух строк, не поддающийся восстановлению.

Из апостола Иоанна. В основе стихотворения — евангельская легенда об Иоанне

Крестители (Предтече), который готовил народ к пришествию Христа. *Акрида* — саранча. *Фарисеи* — особая каста ревнителей религиозного закона у древних евреев. *Мессия* — здесь: Христос. *Выгнал торжников из храма* и т. д. Согласно Евангелию, Христос прогнал из храма торговцев и меновщиков, осквернивших его святость. *Марии плач*. По евангельской легенде, Мария и сестра ее Марфа оплакивали смерть своего брата Лазаря, которого затем воскресил Христос. *Вопль раскаянья Закхея*. Как рассказывается в Евангелии, богач и грешник Закхей отдал нищим половину своего состояния, раскаялся и под влиянием Христа стал праведником. *Израиль* — здесь: еврейский народ. *Исцеляет по субботам; Закон отвергнул Моисеев* — обвинения, которые выдвигали против Христа фарисеи и первосвященники, жаждавшие расправиться с ним.

Из Виктора Гюго («Ребенок пел... а мать в предсмертных муках...»). Перевод стихотворения «L'enfance».

Минотавр. Перевод стихотворения «Le Minotaure». *Магдалины* — здесь: падшие женщины. *Агари был в пустыню послан ангел*. Согласно библейской легенде, наложница патриарха Авраама Агарь, спасаясь от притеснений его жены Сарры, удалилась в пустыню, где ей явился ангел, который утешил ее и призвал вернуться к Аврааму.

С о в е с т ь. Перевод стихотворения «Conscience».

И з В. Г ю г о («Земля кремнистая, холодная, скупая...»). Перевод стихотворения «Une terre au flanc maigre, âpre, avare, inclément...».

Н. Д. П < у щ и н > о й. Посвящено Наталье Дмитриевне *Пушиной*, жене декабриста М. А. Фонвизина, которая последовала за ним в Сибирь, а впоследствии вышла замуж за декабриста И. И. Пушина. *Как десяти столетий было мало, чтоб в нем убить его гражданский дух.* Эти строки написаны вскоре после официальных торжеств по поводу тысячелетия России; Дуров исходил из ошибочной, но разделявшейся также и декабристами точки зрения на русскую историю, согласно которой призвание варяжских князей в 862 г. считалось началом самодержавия и русского государства.

И з Б а р б ь е («О горькая бедность!...»). Перевод стихотворения «Epilog». *Юдоль* — здесь: жизнь, жизненный путь. *Тенёта* — сеть для ловли зверей.

«Кто стал, помимо вечных лжей...». Перевод стихотворения В. Гюго «Pour l'erreur, éclairer, c'est apostasier...». *Герольд* — вестник, глашатай. *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ; обвиненный в соращении сограждан, неуважении к религии, он был при-

говорен к смертной казни; Сократ покончил с собой, отравившись ядом. *Галилей* Галилео (1564—1642) — итальянский астроном и физик, развивавший учение о движении Земли, за что в 1633 г. был осужден как еретик церковным судом.

«Что миг — то новые удары...». *Там мятежи, а здесь пожары.* Имеются в виду польское восстание, начавшееся в январе 1863 г., и петербургские пожары, происходившие летом 1862 г.

Смех. Перевод стихотворения «Le rigé». *Вежды — глаза.*

«Европа движется... Над ней...». Эпиграф, заимствованный из Евангелия, носит здесь явно иронический характер.

Пролет пчел. Французский оригинал не установлен.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

Песня странника. Перевод стихотворения немецкого поэта и филолога Фридриха Рюккерта (1788—1866) «Abendbild des Wanderers».

Дума. Стихотворение пользовалось большой популярностью среди петрашевцев. Эпиграф — из «Безумцев» П.-Ж. Беранже, прочитанных на

обеде у Петрашевского в честь Фурье (см. вступ. статью, стр. 35—36), подчеркивает, что в стихотворении речь идет о самоотверженных борцах-пророках, к числу которых петрашевцы относили Фурье и других утопических социалистов.

На зов друзей. В первой публикации стихотворение имело подзаголовок «Из А. Барбье»; в последующих изданиях — «С французского». Однако читатели хорошо понимали фиктивность этого подзаголовка, предназначенного для цензуры. Стихотворение явно имеет в виду русскую действительность. *Вакх* (греч. миф.) — бог вина и веселья. *Божественный плебей* — Иисус Христос.

Молитва. Перевод стихотворения «Sieh mich, Heiliger, wie ich bin...» из «Эрвина и Эльмиры» Гёте. Тема стихотворения соответствовала мотивам жоржсандизма в русской литературе 40-х годов.

Странник. Эпиграф — из стихотворения «L'hiver» французского поэта Эжезиппа Моро (1810—1838). *Гретхен* — героиня драматической поэмы Гёте «Фауст».

Любовь певца. *Ваал* — языческое божество, поклонение которому в Библии считалось тяжким грехом; Ваал — символ корыстолюбия. *Фиал* — кубок.

«Когда я в зале многолюдном...». *Штраус* Иоганн (1804—1849) — австрийский композитор, отец композитора И. Штрауса, автора всемирно известных вальсов.

Сон. Эпиграф — из книги «Слова верующего» французского социалиста-утописта Ф. Ламенне (1782—1854). Переводы из этой книги читались на собраниях у Дурова. *Левит* — священнослужитель у древних евреев, здесь: человек, наделенный пророческим даром.

Поэту. Эпиграф — две заключительные строки из стихотворения О. Барбье «*Toutes les Muses glorieuses*». Точки заменяют стихи, исключенные цензурой в издании стихотворений Плещеева 1846 г. *Фарисеи* — см. стр. 375. *Жрецы Ваала* — см. стр. 378.

«Вперед! без страха и сомненья...». Это одно из самых популярных стихотворений Плещеева, которое приобрело известность в качестве гимна петрашевцев.

Подражание Байрону. Английский источник — стихотворение «*To D.*» (Из сборника «Часы досуга»).

«К чему мечтать о том, что *после* будет с нами...». Об использовании петрашевцами образа Христа см. вступ. статью, стр. 44.

«Возьми барабан и не бойся...». Перевод стихотворения Г. Гейне «Doctrino». Его можно рассматривать как поэтический отклик Плещеева на европейские события 1848 г.

«По чувствам братья мы с тобой...». Это стихотворение, широко распространявшееся в списках, до недавнего времени ошибочно приписывалось Рылеву. См. вступ. статью, стр. 41 и 57.

Новый год. Стихотворение представляет собой зашифрованное приветствие участникам революции 1848 г. на Западе. В письме к Н. А. Добролюбову от 25 ноября 1859 г. Плещеев писал о нем: «Я послал также Н. А. Некрасову одно стихотворение — с итальянского. Оно у меня давно написано; и вовсе не по поводу Италии... «С итальянского» я для цензуры поставил».

Перед отъездом. Написано перед отпущением Плещеева из Оренбурга в поход на Ак-Мечеть весной 1853 г. Обращено к Л. З. Дандевиль, оренбургской знакомой поэта.

После чтения газет. *Кровавые страницы* — газетная информация о событиях Крымской войны.

С у. Стихотворение, по-видимому, посвящено бывшему петрашевцу М. Е. Салтыкову-

Щедрину, который в ноябре 1855 г. получил разрешение вернуться из ссылки. Подзаголовок «При вступлении на поприще» подразумевает возвращение писателя на путь литературной деятельности.

С. Ф. Дурову. Стихотворение обращено к петрашевцу *Дурову* в связи с его отъездом из Сибири на юг России.

Птичка. Перевод стихотворения польского поэта Владислава Сырокомли (Людвига Кондратовича, 1823—1862). С поэтом-революционером Михаилом Ларионовичем *Михайловым* (1829—1865), которому посвящен перевод, Плещеев сблизился еще в Оренбурге.

«Еще один великий голос смолк...». О ком идет речь в этом стихотворении, не установлено. Высказывалось мнение о том, что оно является откликом на смерть французского утопического социалиста Ф. Ламенне или Белинского. Скорее всего, стихотворение написано по поводу смерти Гоголя.

«Он шел безропотно тернистой дорогой...». Об отношении петрашевцев к мифу о Христе см. вступ. статью, стр. 44.

Посвящение. Этим произведением открывался сборник стихотворений Плещеева 1858 г., оно несомненно обращено к друзьям-петрашевцам.

Мой знакомый. *Леру* Пьер (1797—1871) — французский социалист-утопист.

«Была пора: своих сынов...». В стихотворении речь идет о Крымской войне 1853—1856 гг. и о послевоенном времени, когда русское общество было охвачено ожиданием общественных перемен. Эпиграф — из «Стансов» Пушкина. *В иную славную войну*. Речь идет об Отечественной войне 1812 г.

Декабрист. По цензурным условиям при жизни автора печаталось под названием «Старик».

Песня. Перевод стихотворения Т. Г. Шевченко «Полюбила я...».

«Честные люди, дорогой тернистою...». Посвящено Н. Г. Чернышевскому и написано во время суда над ним.

«Я тихо шел по улице безлюдной...». Здесь речь идет о Белинском, о том благотворном влиянии, которое оказывал он на людей 40-х гг. В стихотворении довольно точно описан дом на Лиговке (в Петербурге), где с 1847 г. жил Белинский.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ

1. Поэты - петрашевцы. Редакция текста и примечания В. Л. Комаровича. Вступительная статья В. В. Жданова. «Библиотека поэта», Большая серия. Издание первое. Л., 1940.

2. То же. Вступительная статья и общая редакция В. В. Жданова. Подготовка текста, примечания и биографические справки В. Л. Комаровича. «Библиотека поэта», Большая серия. Издание второе. Л., 1957.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Поэты кружка петрашевцев. <i>Вступительная статья В. В. Жданова</i>	5
---	---

А. П. БАЛАСОГЛО

<i>Биографическая справка</i>	71
Прорицание	73 365
Противоположность	76 365
Раздел	80 365
Гений	82
А. Н. В<ульф>	84 365

А. И. ПАЛЬМ

<i>Биографическая справка</i>	105
Опустелый дом	107
«Много горя, много дум тяжелых...»	109
Освобожденный узник	110 367
А. Ф. Д—у	112 367
Цыганке	113
Напутное желание	115

¹ Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

«Когда гляжу на городские зданья...»	116	368
«Гляжу я на твои глубокие морщины...»	117	
Русские картины	118	
Русская песня	119	368
Осенний день	121	
Отрывок из рассказа	122	368
В альбом М. В. Г.	130	368
Перед грозой	133	
Обоз	135	
«Напрасно прозрачные глазки твои...»	137	
«И одного еще мы проводили...»	138	368

Д. Д. АХШАРУМОВ

<i>Биографическая справка</i>	141	
«Едва я на ногах, шатаюсь как пьяный...»	144	
«Позором века...»	145	
«Земля, несчастная земля...»	147	369
«День за днем всё идет да идет...»	149	
«Гора высокая, вершина чуть видна...»	151	369
«Судьба жестокая свершилась надо мной...»	155	369
Херсонь	156	370
Н. Е. Рудыковскому	158	370
«Мои острожные друзья...»	160	370

С. Ф. ДУРОВ

<i>Биографическая справка</i>	163	
Из В. Гюго («Не насмехайтесь над падшею женой!..»)	166	370

Дант (<i>Из Августа Барбье</i>)	167	370
«Бывают дни недуга рокового...»	169	
Цветок	170	
Из Виктора Гюго («Нежданно настает день горький для поэта...»)	171	371
Из Барбье («Как больно видеть мне по- всюду свою горесть...»)	173	371
Сонет («Нигде, ни в ком любви не обре- тая...»)	175	
«Вечер был светел, как день; небо сияло лазурью; поля...»	176	
«Люблю тебя за то, что в вихре светских бурь...»	177	
«Мы встретились — и тотчас разо- шлись...»	178	
Из В. Гюго («Ты видишь эту ветвь; поби- тая грозю...»)	179	371
«Когда трагический актер...»	180	371
Кручины	182	
Шекспир	183	
Князя (<i>Из О. Барбье</i>)	184	371
Оружие (<i>Ребенку</i>)	193	
Осеано пох (<i>Из В. Гюго</i>)	194	372
«Я как сокровище на памяти моей...»	197	
Из В. Гюго («Когда порой дитя появится меж нами...»)	198	372
«С тайной, тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое сердце!...»	200	
«И плакать хочется, и хочется сме- яться...»	202	
Роза и кипарис	203	
«Когда прощались мы с тобой...»	204	

«Не верьте мне, когда среди волнений...»	206
(Из А. Шенье) («Вдали от сладостных пафосских берегов...»)	207 372
Аю-даг (<i>С польского</i>)	209 372
Туча	210
Анакреон	211
Сонет («Я думаю: на что облокотиться?..»)	212
Листок	213 373
«Я не приду на праздник шумный...»	214
В альбом графини С — кой	215 373
«Есть бездна на земле, есть бездна роковая...»	216 373
«Что в жизни, если мы не любим никого...»	220 373
Из Данте («На полпути моей земной дороги...»)	221 373
Отчаяние (<i>Из Н. Жильбера</i>)	225 374
Кружка (<i>Восточное предание</i>)	226 374
«Кого любить? Кому доверить...»	229
К*** (<i>При отсылке стихов А. Барбье</i>)	230 374
«Иные дни — мечты иные...»	232
Чердак	234 374
Портрет	236
«Жаркое чувство любви ненадолго в душе остается...»	237
В. В. Толбину	238 374
«С невыразимым наслаждением...»	240
«Ваш жребий пал! Счастливая пора...»	241
Сосед	242 374
«Озябло горячее сердце мое...»	243

Странник	244
«Когда, склонившись на плечо...»	245
«Куда ни посмотришь — повсюду...»	247
«Как весело... идти вослед толпы...»	248
«Зачем забвенья не дано...»	250
К ребенку	251
Из апостола Иоанна	252 374
Из Виктора Гюго («Ребенок пел... а мать в предсмертных муках...»)	255 375
Минотавр (<i>Из Огюста Барбье</i>)	256 375
Совесть (<i>Из Огюста Барбье</i>)	261 376
Из В. Гюго («Земля кремнистая, холод- ная, скупая...»)	263 376
Н. Д. П<ушиной>	264 376
Из Барбье («О горькая бедность!...»)	265 376
«Кто стал, помимо вечных лжей...»	268 376
«Что миг — то новые удары...»	269 377
Смех (<i>Из Барбье</i>)	270 377
«Европа движется... Над ней...»	273 377
Пролет пчел (<i>Из Огюста Барбье</i>)	274 377
«Нет, нет, без веры жить нельзя!...»	276

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

<i>Биографическая справка</i>	279
Песня странника (<i>Из Рюккерта</i>)	282 377
Дума	283 377
На зов друзей (<i>С французского</i>)	285 378
Молитва (<i>Из Гёте</i>)	287 378
Странник	289 378
Любовь певца	292 378
Сосед	294

«Когда я в зале многолюдном...» . . .	296	379
Сон (<i>Отрывок из неоконченной поэмы</i>) . . .	298	379
Поэту	301	379
«Вперед! без страха и сомненья...» . . .	303	379
Ответ	305	
«Страдал он в жизни много, много...» . . .	306	
Прости	308	
Подражание Байрону	309	379
«К чему мечтать о том, что <i>после</i> будет с нами...»	310	379
«Возьми барабан и не бойся...»	312	380
«По чувствам братья мы с тобой...»	313	380
Новый год (<i>Кантата с итальянского</i>)	314	380
Перед отъездом (<i>Л. З. Д. — при посылке моих стихов</i>)	316	380
После чтения газет	318	380
С у (<i>При вступлении на по- прище</i>)	319	380
В степи	320	
«О, если б знали вы, друзья моей весны...»	322	
С. Ф. Дурову	323	381
Птичка (<i>Подражание Сырокомле</i>)	324	381
«Есть дни: ни злоба, ни любовь...»	325	
«Еще один великий голос смолк...»	326	381
«О нет, не всякому дано...»	327	
«Он шел безропотно тернистою доро- гой...»	329	381
Посвящение	330	381
«Много злых и глупых шуток...»	331	
«Дети века все больные...»	334	
Мой знакомый	336	382

Странник	340
«Была пора: своих сынов...»	342 382
Декабрист	344 382
Песня (<i>Из Шевченко</i>)	346 382
«О, не забудь, что ты должник...»	347
Отчизна	348
«О юность, юность, где же ты?..»	350
«Честные люди, дорогой тернистою...»	352 382
Старики	353
Ночью	356
«Я тихо шел по улице безлюдной...»	358 382
Примечания	363
Основные издания	383

ПОЭТЫ - ПЕТРАШЕВЦЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1966,
392 стр.

Тем. план вып. 1966, № 427

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *Л. С. Хижинский*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 24/VI 1961 г. Подписано
в печать 9/XI 1966 г. Бумага 84 × 108¹/₆₄,
№ 2. Печ. л. 6¹/₈ (10,29). Уч.-изд. л. 10,87.
Тираж 30 000 экз. Зак. № 1412. Цена 44 к.

Издательство «Советский писатель»

Ленинградское отделение

Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3.